

70 коп.

Александр  
АБРАМОВ

**Я ИЩУ  
КИТЕЖ-  
ГРАД**







*Александр*  
**АБРАМОВ**

# **Я ИЩУ КНТЕЖ- ГРАД**

ПОВЕСТИ



*Москва*  
*Советский писатель*  
1982

Повести, составившие этот сборник, на первый взгляд имеют друг с другом мало общего, но на самом деле каждая последующая повесть своеобразно подхватывает и продолжает тему предыдущей.

В повести «Я ищу Китеж-град» современная советская жизнь дается глазами иностранца. Этот человек хорошо знал прежнюю, дореволюционную Россию. Через много лет, приехав в Москву, он сравнивает нашу жизнь не только с жизнью своей страны, но и с нашим собственным прошлым. То, что нам кажется обыкновенным и привычным, гость воспринимает как великое завоевание нового мира.

«Когда скорый опаздывает» — повесть о молодой женщине, наделенной великой — не созерцательной, но активной, действенной, самоотверженной любовью к людям.

Повесть «Прошу встать» — о сплоченности советских людей, об их стремлении к взаимовыручке и взаимопомощи. В центре внимания автора — морально-нравственные проблемы.

Художник  
Татьяна ПРИБЫЛОВСКАЯ



Я ИЩУ КИТЕЖ-ГРАД



# 1

Я сплю чутко. Дома на Чейн-уок я всегда просыпаюсь от скрипа тормозов автомобильной тележки молочника. Здесь меня разбудило едва слышное монотонное жужжание. Это у Виктора на окне в соседней комнате включился миниатюрный моторчик. Белая шелковая шторка автоматически поползла вправо, закрывая от солнца стеклянные стеллажи с орхидеями. Через тридцать пять

секунд, натянув шторку, мотор выключался и умолкал. Но сейчас я насчитал сорок, а жужжание еще продолжалось. Значит. Виктор не спал.

Даже не глядя на часы, я знал, что было не больше шести. Солнце еще не показалось из-за строящегося дома напротив. Его бетонная площадка, доведенная до четвертого этажа, была пуста. Высокий ажурный кран беззвучно простирал над ней худую вытянутую руку. Рука не двигалась. Строители еще не начинали работу. Тишина за окном ощущалась на слух, как в лесу.

Вдруг что-то громко стукнуло в соседней комнате, и тотчас же я услышал, укоризненный Галин шепот:

— Виктор! С ума сошел.

— Плоскогубчики упали. Извини — нечаянно.

Виктор шептать не умел.

— Не ори. Разбудишь.

Вероятно, жест в сторону моей комнаты и виноватый взгляд Виктора в том же направлении. Я отчетливо представлял себе этот дуэт. Галин нос, торчащий из-под одеяла — несмотря на протесты Виктора, она всегда натягивала одеяло на голову, — и широкая спина Виктора, склонившаяся над столом, обитым линолеумом. Из-за орхидей на окне в комнате рассеянный свет — зайчиками.

— Хороший старик. Чудной только, — шепчет Галя.

Виктор, не понимающий капризов Галиной мысли, должно быть, пожимает плечами.

— Почему чудной?

— Все ищет чего-то. Совсем заскучал. За Иверской, за храмом Христа-спасителя...

Смешок.

— Не «за», а «по», — назидательно поправляет Виктор. — Скучать по ком-нибудь.

— Знаю, отстань. Это я по привычке. Вчера в Кремле был.

— Не понравилось?

— Не понравилось. Все говорит, не так теперь, как раньше было. Конечно, старому москвичу, может, и обидно.

— Какой он москвич! Не русский даже.

Я уже знаю, что Виктор начинает поддразнивать Галю. И, как всегда, у него — клюет. Галя обижается:

— Дело ведь не в паспорте. Что там чернилами записано — ладно. А вот что кровью в сердце?

— Ты веришь?

— Почему нет? Здесь родился, здесь вырос. А первая любовь что, по-твоему, — пар? Нет, — Галя сочувственно вздыхает, — кто это знает, тот верит.

Тишина. И снова Галин шепот:

— И фамилия у него наполовину русская — Барнет. У нас кинорежиссер такой был.

У Виктора опять что-то упало. Потом заскрипел паркет — это Виктор на цыпочках подошел к моей двери и чуть-чуть приоткрыл ее. Я зажмурился.

— Спит, — сказал он.

И опять заворковали голоса.

— Ты что поднялся в такую рань?

— Отрегулировать кое-что. Реле времени.

— А день на что?

— К Снегиреву надо зайти. Насчет зажимных устройств. Пневматику будем менять.

— Все воскресенье?

— Что все воскресенье?

— У Снегирева просидишь?

— Почему? Нет, конечно. Потом ребята хотели собраться. А вечером лекция.

— Господи, — вырвалось у Гали, — и зачем тебе все это?



— Что все? Ты об Университете культуры? — удивился Виктор.

— Да нет. Об оранжерее твоей. Встать в пять часов из-за какого-то реле! Зачем тебе эти орхидеи? Ты же токарь.

— А что — токарь? Цветов любить не должен?

— Какие цветы?! — Галя говорила теперь громко, раздраженно. — Цветы в саду хороши. Я сама их люблю. Но не эти! На них идохнуть нельзя — еще заразишь! Теплый дождь им устраивать надо. Электроплитками воздух подогревать. Ты эти парники завел я знаю почему. Чтобы вылездиться. У людей нет, у тебя есть. Индюшачье в тебе это. От гордости.

Я с интересом ждал, что ответит Виктор.

— Нет, — сказал он, и в голосе его послышалось что-то для меня новое. Он не оправдывался, не спорил, он мечтал. — Не от гордости, нет. От трудности. Ты же знаешь, мне чем труднее — тем интереснее. Я вообще зелень люблю, а эта культура особого труда требует, повышенного внимания, изобретательности, если хочешь, техники. И зря ты взялась, Галка. Не навек эти парники. Освою — брошу. Новенькое что-нибудь придумаю.

Громыхнув стулом, он встал.

— Пойду завтрак готовить. Лежи пока. А его потом разбудим. Старость — не радость... Пусть спит.

Но я уже встал и по привычке смешивал коньяк с боржомом. Старость — не радость? Наверное. Только я в свои шестьдесят семь лет что-то не чувствую себя Мафусаилом. Недаром говорят, что англичанин до тридцати лет ребенок, а до семидесяти юноша.

Англичанин?

В конце восьмидесятых годов мой отец приехал в Москву представителем бирмингемской металлопромышленной компании Бальфура. Через несколько лет Эндрю Джон стал Андреем Ивановичем, завел дружбу с оптовиками-скобянниками и даже влюбил-



сы в купеческую дочь из Зарядья. С ней он сыграл свадьбу по русскому обычаю, прижил троих детей и уже не помышлял о возвращении на родину.

Я родился за семь лет до нового века, был торжественно крещен в англиканской церкви и наречен Джоном. Мать меня тут же превратила в Ивана: дома у нас говорили только по-русски, а она не выучилась английскому даже в Англии.

Таких полуанглийских-полурусских семей было тогда немало в Москве. На Ореховской мануфактуре у Саввы Морозова подвизались Чарноки, у заводчика Бари в Симоновке — Дэвисы, Пикерстиги причесывали на европейский лад Филатовскую торговлю в Зарядье, Мершанты внедряли тормоза Вестингауза. Многие, подобно отцу легко и прочно вросли в московский быт, без запинки говорили по-русски, выезжали на лето в Серебряный бор и в Покровское-Стрешино, соблюдали православные праздники и обучали детей в казенных гимназиях. Я не был исключением, конечно, пригостишкой спотыкался на букве «ять», а великовозрастным гимназистом — на биноме Ньютона. О Теннисоне и Мереди-те я едва ли слышал в то время, а Пушкина и Гоголя знал лучше Теккерея и Байрона. Третьяковка была для меня так же «своей», как «своими» были Малый и Художественный театры, я заслушивался октавой протодьякона Розова в храме Христа-спасителя и мерз в очереди за билетами на гастроли Шаляпина. Тогда я не задавал себе вопроса, англичанин я или русский, — я просто жил, дышал воздухом Москвы, слушал ее речь, читал ее книги. И думал, что так будет всю жизнь.

Увы, это кончилось в декабре тысяча девятьсот семнадцатого, когда бирмингамская компания Бальфура решила прикрыть свое русское представительство. Вместе с Дэвисами и Пикерстигиями отец с семьей выехал в Англию, проклиная страну, в которой больше некому было продавать добротную бирмингамскую проволоку, манчестерский шевит и шеффилдскую сталь.



Помню свинцовое декабрьское небо, свистящую поземку на Арбате и слезы матери, казавшиеся мне растаявшими снежинками на побелевших щеках. Студенческую фуражку мою унесло ветром, я повязал голову теплым шарфом по-бабьи и стал похож на солдата наполеоновской армии, бредущего из русского плена. Ах, как мне хотелось тогда остаться в этом плену!

...В соседней комнате застучали босые пятки по паркету — Галя одевалась. Сейчас она подойдет к двери и позовет. Так и есть.

Иван Андреевич, вы не спите?

— Не сплю, Галя, не сплю.

— Вставайте. Горячая вода пошла.

— Сейчас, Галенька.

Их дом только что подключили к теплоцентрали, и снабжение горячей водой иногда капризничает: где-то проверяют котлы и трубы. Но Галя искренне огорчается: она уже не представляет себе жизни без горячей воды, которая просто течет из водопроводного крана.

А в доме, где она выросла, за водой надо было бежать на улицу к колонке со скрипучим, заржавленным рычагом. Зимой вокруг нее расползались наледи, по которым с трудом можно было пройти даже в валенках. Один раз я попробовал. Первое ведро я налил, но уже со вторым растянулся, опрокинув его на себя на двадцатиградусном морозе.

Самое удивительное, что я ничего не забыл. Этой зимой мы кормили голубей у колонны Нельсона на Трафальгар-сквере. Мы — это я и туристы из Москвы, инженер автомобильного завода и его жена, учительница. Они улыбались мне, неуклюже склеивая коротенькие английские фразы. Я же долго крепителся, прежде чем заговорить по-русски, все боялся, что забыл, разучился, не сумею передать мелодику родной речи. А когда наконец заговорил, соседи мои растерялись, как дети.

— Вы... русский?



Я улыбнулся.

— Не эмигрант?

— Нет, — мне было легко и весело, — я англичанин.

Они не поверили.

— Не разыгрывайте, — засмеялась учительница, — мы даже «акаете» по-московски.

Я объяснил. Наступило молчание. Инженер, видимо, тщательно обдумывал то, что собирался сказать, но жена его оказалась менее сдержанной:

— И вы не приезжали к нам после этого?

— Нет.

— Почему?

Я пожал плечами. На этот вопрос я не ответил бы себе самому.

— Столько лет прошло, а вас ни разу не потянуло в Москву?

— Скажи: на родину, — вмешался инженер.

— И скажу, — она говорила громко и возбужденно, не стесняясь прохожих, как говорят на юге Франции или в Италии. — Вы родились и выросли в Москве. Вы прожили там почти половину жизни. Так неужели же вы ничего не оставили за собой? Не верю. Какая-то часть вашей души там, в Москве.

Что я мог сказать ей, первой встречной, чужой и не очень симпатичной мне женщине? То, что я оставил там свое сердце? Об этом я не говорил никому, даже Джейн.

— Я ведь не зря спросил вас, не эмигрант ли вы, — сказал инженер. — В известном смысле вы — эмигрант. Легальный, правда, но это не меняет дела.

Я должен был отбить этот удар.

— Нет, я не уехал врагом новой России. Я не был ее врагом и все последующее сорокалетие. Я просто не знал ее. Да и сейчас не знаю.



— И не хотите узнать? Бойтесь, что наша Москва зачеркнет в памяти вашу? — Он усмехнулся, прочтя в моих глазах ответ. — Есть такая опасность. Перешагните ее, советую. Или вы избавитесь от хлама воспоминаний, или она даст вам новые радости. В обоих случаях вы выиграете.

Художники часто пишут на старых холстах, не соскабливая ранее положенных красок. Они просто загрунтовывают их фоном для новой картины. Так она и живет другой жизнью, пока прежняя не выглянет из-под облупившейся краски. Русские подсказали мне это раньше, чем заметил я сам.

Заметила это и Джейн. С тех пор, как она переехала ко мне, отказавшись жить с мачехой, от нее ничего нельзя было скрыть.

В тот день я читал эмигрантские рассказы Куприна, полные такой нестерпимой тоски по родине, что хотелось пощупать страницы: не мокры ли они от невидимых слез.

Джейн повертела в руках книгу и улыбнулась.

— Скучаешь, дед?

Я вздохнул. Что скрывать, если не скроешь.

— Съездил бы ты в Москву. Сейчас это нетрудно. Ты свободен, сбережения у тебя есть. В конце концов даже неблагодарно после стольких лет разлуки не повидать старых вязов.

— Березок, Джейн.

— Все равно. Только не притворяйся стариком, дед.

Не на Марс лететь.

Она ошиблась. Именно на Марс. На другую планету.

...Сейчас мы завтракаем в большой светлой комнате, которая на время моего пребывания здесь служит им и столовой и спальней. Одно из ее высоких окон загораживает тропическая оранжерея Виктора, построенная им самим из органического стекла. Все в ней механизировано. Специальные электроплитки подогревают воздух, лампы дневного света помогают здешнему северному



солнцу, автоматически действует дождевальная установка, многократно орошающая пестрые, диковинные цветы. Все это Виктор сконструировал сам, собственноручно выточив каждую шестеренку. Рассказывал он об атом неохотно, не затрудняя себя объяснением непонятных мне технических терминов.

— Вы инженер? — спросил я.

— Нет, — ответил он просто, — но буду. Со временем, — прибавил он, улыбнувшись.

— Он будет, — с обожанием сказала Галя.

Сейчас она чем-то расстроена. Будто черная кошка пробежала между нею и Виктором. Может быть, та самая, что царапалась утром?

— Хоть бы вы повлияли на него, Иван Андреевич. Не могу я больше, — говорит Галя, не глядя на Виктора.

Но он невозмутим. Дожевывая холодную котлету, он обращается ко мне:

— Вы на нее повлияйте. Лучше будет.

— Свинья ты, Витька, — Галя закипает, продолжая обиженной скороговоркой: — Сегодня вечер свободный, думала — в кино пойдем... так нет...

Галя работает медицинской сестрой в заводской амбулатории, и ее свободные часы не всегда совпадают с отдыхом Виктора.

— Я же говорил: лекция у меня, — хмуро произносит он.

— Каждый день что-нибудь. А я?

— Что ты?

— Зачем было замуж выходить? Тоска.

— Займись чем-нибудь. Я же учусь, и ты учись.

— Опять!

У Гали розовеют щеки.

— Опять, — тон Виктора непреклонен и тверд. — Ты уже три года сестрой работаешь. Пора на медфак подавать.

— А что? Сестры не нужны?



— Нужны. Но если ты можешь стать врачом, добивайся.

Тон Виктора невольно приобретает наставительный оттенок, который так не нравится женщинам. И Галя опять вспыхивает:

— А экзамены кто будет держать, ты? Я все забыла.

— Вспомнишь. Я подготовлю тебя за лето по общим предметам.

И Галя теряет. Глаза у нее затуманиваются — вот- вот заплачет.

— У меня и способностей нет, — тихо произносит она, опустив глаза.

— Есть! — убежденно провозглашает Виктор, — есть. Все есть — и способности и желание. Да объясните ей это, Иван Андреевич. Ведь умная она, а несобранная.

Обращение ко мне чисто риторическое. Ни Галя, ни Виктор не ждут моего ответа. А я думаю о Джейн. Будет ли у нее когда-нибудь такая ссора?

...О Джейн я впервые вспомнил, когда мы уже подлетали к Москве. Город еще не различался вдали. Он лежал у горизонта лиловой дымчатой массой. Внизу под крылом самолета зеленели квадратики дачных участков, пересекаемые полосками пыльных дорог. Мутное пятно аэродрома поблескивало местами, как широкое озеро.

Неразговорчивый чех, с которым я летел из Праги, вдруг уступил место девушке лет двадцати в прозрачной нейлоновой кофточке и таких же перчатках. Я искоса взглянул на нее. Пучок соломенных волос на затылке, румянец во всю щеку, как на вятских игрушках, и рыженькие деревенские веснушки у глаз не делали ее красивой.

— Можно я в окно посмотрю? — бесцеремонно спросила она. — У нас за крылом не видно.

— Пожалуйста, — сказал я и попытался встать.

— Сидите, сидите. Мне и отсюда видно, — она нагнулась к окну. — Заметили полосу? Это Внуковское шоссе. А там за лесом вон — дома. Видите, строятся?

Внизу по краям серой ленты, исчезавшей в фиолетовой дымке, смутно различались темные пятнышки, похожие на спичечные коробки.

— Три года назад их еще не было, стройка только за университет заходила. А теперь, видите, где? Так, пожалуй, до самого аэропорта застроим.

В глазах у нее загорелись веселые искорки.

— Наши дома... мы их строим. Пятое стройуправление — пояснила она. — Раньше я в тринадцатом у Ануфриева работала, а теперь он город-спутник строить будет.

Я с любопытством глядел на нее, не решаясь спросить, что означает «мы строим» и «пятое стройуправление». Заинтересоваться городом-спутником было естественнее. Может быть, он в космосе, где-нибудь на орбите Венеры?

— Это где? — спросил я.

— А где же ему быть? В Крюкове. Ну тот, о котором писали. Первый. — Она опять заглянула в окно. — И здесь бы надо город-спутник. Смотрите, сколько зелени. Все сохранилось бы... А Москву сюда тянуть... зачем?

В ее интонациях послышалось что-то личное. Я не утерпел и спросил:

— Извините за любопытство. А почему вас, собственно, это беспокоит?

— Как почему? А транспорт? Живешь здесь, а на работу за пятнадцать километров ехать!

— Вам ехать?

— Почему мне? Я вообще говорю.



— А Лондон вот хаотически раздвигается, — усмехнулся я. — Пригороды проглатывает, как бутерброды. И никого это не беспокоит.

Она недоверчиво покосилась на меня.

— Откуда вы знаете? Может, кого и беспокоит. Считаете, если за граница, так люди о себе только думают? О разном тревожатся. Я вот тоже из-за границы еду, из Праги... Опыт передавала.

— Одна?

Я имел в виду ее возраст, но, она поняла меня иначе.

— Зачем одна? Не такой опыт у Тоньки Барышевой, чтобы ее одну посылать. И Петр Евсеевич ездил и Коля, и Райка Мысина — полбригады. Вон сзади сидят.

Что делает некрасивую женщину хорошенькой? Улыбка, глаза, женственная мягкость движений? Тоня вдруг засмеялась, обнаружив жемчужины не тронутых дантистом зубов, и словно стало светлее.

— Мы с Райкой от гостиницы отказались — у пражских девчат в общежитии устроились. Все такие же строители, как и мы. Так знаете, о чем к вечеру пошел разговор? Не о блоках, конечно, из которых дома складываются, — об этом на собрании шла речь. И не о тряпках, хотя девчата везде одинаковы. О любви. Какая, мол, будет любовь при коммунизме. Вы не смейтесь...

— Что вы, Тоня. Мне просто интересно.

— Правда? Ведь если бы это в Москве было, мы бы ни за что первые в разговор не полезли. Поумнее нас люди есть. А тут окружили нас, ждут, что скажем. Ну и пришлось, конечно. Надо же честь поддержать.

Самолет легко, почти без толчка коснулся колесами широкой бетонной дорожки.

— Уже! — воскликнула Тоня и вскочила с места. — Вот мы и дома. Спасибо за разговор.

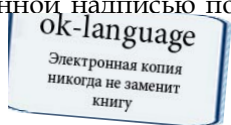
Тут я и вспомнил о Джейн, мысленно представив ее в споре с Тоней о том, какая будет любовь при коммунизме. Нет, я действительно летел не в Москву, а на Марс. Я не узнал Москвы.

Есть такая игра «джиг-со» — головоломка для взрослых. Была она популярна в кризисные годы в Америке, но потом забылась. Берут многокрасочный литографский портрет или пейзаж, наклеивают его на фанеру и распиливают на множество мелких кусочков. Потом все это смешивают, и игра готова. Требуется из кусочков воссоздать целое, из хаоса цветных дощечек — первоначальный портрет или пейзаж.

Моя встреча с Москвой напоминала эту игру. Сначала я ничего не узнавал. Потом находил вдруг знакомые кусочки картины и пробовал восстановить ее в памяти и сравнить с тем, что видел в действительности. Удавалось мне это редко.

Воспоминания, такие послушные в Лондоне, в Москве растерялись. Я шел по улице, сворачивал в переулок, останавливался где-нибудь у чугунной решетки ворот или у подъезда с потемневшими от пыли и копоти стеклами и говорил себе: конечно, здесь! Воспоминание приходило зыбкое и неуверенное и тотчас же исчезало, насмешливо шепнув на прощание: нет, старина, не то, не то. Оно нуждалось в декорации, в знакомом фоне, в уцелевших свидетелях былого, которые могли бы скоординировать ему: «Сезам, отворись!» Но их не было.

Я не нашел ни Китайской стены с книжной сутолокой у ее подножия, ни Охотного ряда, ни Иверской, ни кафе Филиппова на Тверской, ни цветного рынка у Триумфальных ворот. Скудный серый дом стоял на месте церковного дворика в Благовещенском переулке, где Володька Климов, впоследствии прославленный центр «Униона», обучал меня искусству бить по воротам под штангу и в угол. Не было и самой церкви, где я впервые познакомился с Машенькой, и чистенькой польской кондитерской с позолоченной надписью по стеклу витрины: «Кава, хербата, домове





часто», где за крохотным столиком у окна однажды прозвучало самое прекрасное на земле слово: люблю.

Иногда воспоминание умиляло, как старая кинохроника в новом фильме. Незнакомые мне скульптуры стояли у входа в Зоологический сад, но черные австралийские лебеди так же доверчиво подплывали к берегам пруда. Милым видением детства промелькнули белые фартучки школьников на улицах. По-прежнему на Кузнецком у Шанкса торговали готовым платьем, а у Вольфа — книгами. Правда, другие вывески извещали об этом, но они не запомнились. Я приехал из Англии с чувством дружеского любопытства к новой Москве, но в Москве оно почему-то погасло. Придирчивый глаз иронически подмечал белье, развешанное для просушки на балконе нового дома, нехитро убранную витрину универсального магазина, испорченные автоматы на улицах, но не проявлял интереса к заботам и хлопотам московских хозяев. Я смеялся про себя над паломничеством к университетскому небоскребу, равнодушно проходил мимо концертных афиш, а молодые липы, высаженные вдоль новых проспектов, вызывали во мне только жалость. Они казались чужими здесь, эти липы, хилые дети загородных перелесков, поставленные кем-то в строй на празднике кирпича и бетона.

Тени юности исчезали, не возвращаясь, и напрасно искал я их средствами, доступными человеку. В адресном столе не оказалось адресов ни Володьки Климова, ни Жени Пикерсгиль, не последовавшей за семьей в Англию. Я вспомнил ее полуукоризненные-полунасмешливые слова, сказанные мне на прощание: «Эх ты! Остаться смелости не хватает». Пусть так, я даже обрадовался, что ее не нашел. Одним воспоминанием меньше.

Эта мысль пришла мне в голову и на автобусной остановке на Филях, когда я, сойдя с автобуса, остановился в недоумении перед ансамблем многоэтажных домов на скрещении типично городских улиц. Здесь когда-то была наша дача, стоявшая на краю широкого

зеленеющего оврага, по которому струилась прыткая прозрачная речушка в желтых кувшинках. То было видение совсем из другого мира, мгновенно исчезнувшее на фоне незнакомого города.

Курносый парень в ковбойке, медленно шагавший к автобусной остановке, лениво взглянул на меня.

— Потерял что, дед?

В глазах у него читались скука и полное ко мне равнодушие. Меня даже умиляло это отсутствие любопытства у москвичей к моей все-таки иноземной особе. Должно быть, нескладный готовый костюм и украинская рубашка с вышивкой, купленные мной по приезде в Москву, прочно предохраняли меня от такого любопытства. Я, что называется, слился с пейзажем.

— Потерял что, говорю? — повторил свой вопрос парень.

Мне вдруг захотелось рассказать ему о своей неудаче. Он молча выслушал, пыхтя папироской, и ловко выплюнул окурок в самый центр ближайшей дождевой лужи.

— Жил, значит, здесь?

— Жил.

— И ничего похожего?

— Ничего, — вздохнул я. — Поиски утраченного времени.

— Силен.

Я не понял.

— Силен, говорю. Интеллигенция, — он сладко зевнул. — Может, пивка выпьем?

— Да нет. Я пойду, пожалуй.

— погоди. Вон Клавка идет на твоё счастье. Эй, Клавочка, ходи сюда!

Худенькая девушка в косынке, переходившая улицу, подошла к нам. В сумке вместе с круглой буханкой хлеба торчал учебник английского языка.

Парень в ковбойке театрально поклонился ей и певуче продекламировал:



— Вы родились здесь, графиня? И звезды, которые нам светят, уже давно светили вам? Не так ли?

— Опять психуешь, — нахмурилась девушка. — Я думала, ты серьезно.

— Постой. Вот дедок вчерашнее воскресенье ищет.

Она взглянула на меня с любопытством.

— Вы в самом деле что-то ищете?

— Нет, — сказал я. — Просто я сорок лет здесь не был.

— И ничего не узнали?

— Не узнал.

— Я и сама не знаю, что здесь раньше было. Родилась, правда, здесь, только не так давно.

— «Забота у нас простая, забота наша такая — жила бы страна родная, и нету других забот...» — вполголоса запел парень и, не прощаясь, пошел к остановке.

— Как поет, слышите? — встрепелась девушка. — А мы его в хор затащить не могли. Из драмкружка тоже ушел.

И она побежала за ним.

Тут я решил уехать. Заасфальтированный Кремль и Охотный ряд без Охотного ряда — не для меня. Вчерашнее воскресенье ищет дедок. Нет, баста. Хватит с меня поисков. Возвращаюсь.

Я даже воскликнул про себя. И должно быть, пошевелил губами, потому что Виктор заметил это. Он всегда все замечает, глазастый черт.

— О чем думка, Иван Андреевич, — понимающе усмехнулся он. — Обманула вас Москва?

Мне не хочется спорить с Виктором, но в лукавом его вопросе я уже слышу звон шпаги.

— Откровенно говоря, обманула.

— И Кремль не тот, и Охотного ряда нет, — насмешничает Виктор. — Даже памятник Пушкину переехал.

— К сожалению, переехал. Только не понимаю зачем.

— На что же вы надеялись?

— На живучесть старого, — принимаю я вызов. — Старики всегда консервативны, Витя. При всех режимах, во все времена. Всегда им удастся что-то уберечь, что-то удержать в стремительном потоке жизни. Вот это я и хотел увидеть. Неумершее и непреображенное. Вы меня понимаете?

— Что ж тут не понять? Вы в Сандуны ходите. Те же стены, те же лавки. И банщики небось в таких же клеенчатых передничках. И по-прежнему все голые.

— Я не о том, Витя.

— А о чем? Сервис не тот?

Виктор продолжает в том же тоне. Напрасно. Сейчас он будет наказан.

— Сервис не тот? — весело переспрашиваю я. — Тот, Витя. Именно тот. Кое-что вы сохранили для старого москвича. Вы знаете, что такое Сухаревка? Это не только рынок, шире: сервис для народа. В России всегда так было: для немногих — первоклассная работа, на рынок — дрянь, дешевка. Вот на эту дешевку я и люблю. Рынок снесли, а Сухаревка осталась. На мой костюм посмотрите — Сухаревка! А Галины серьги? А эти украшения на дверях? А шпингалеты на окнах? Помню, этого рукоделия в Зарядье, бывало, не выкупишь. А где же «для немногих», Витя? Где ювелиры, где портные-художники? Где мастерство?

Виктор слушает, сосредоточенно разминая кусочек хлебного мякиша. Его умные пальцы и тут ухитряются создать какие-то индустриальные формы.

— Где то, что украшало жизнь? — почти кричу я.

Галя, то и дело бросающая на Виктора нетерпеливые взгляды, наконец вмешивается:

— Что молчишь? Или во всем согласен?

— А почему бы нет? — опять улыбается Виктор. — Верно, еще шьем костюмчики вроде этого. И ювелиров маловато. И шпинга-



леты дрянные. Только зачем же обобщать? Есть поганки в лесу, так лес от этого не редееет. И к небу тянется, и хорошеет помаленьку. А поганки вытопчем, и жизнь научимся украшать — было бы желание. Вы знаете, чему мы научились за сорок лет? — Он посмотрел на меня пристально и строго. — Знаете, конечно. Только не интересно вам это. Вот и ищите не то, не тем и любуетесь. Потонул ваш Китеж-град, Иван Андреевич.

Гале не нравится резкая прямота мужа.

— А на что ему смотреть? — вступается она за меня. — Как дома строят — пыль глотать? Подумаешь, как интересно. Вы бы в Парк культуры сходили, — сочувственно добавляет она, укоризненно поглядывая на Виктора. — Я бы сама с вами пошла, да в амбулаторию надо. Может быть, подождете? Я скоро.

— Что вас огорчает, мне понятно, — продолжает атаку Виктор. — Неудовлетворенность воспоминаний. Забудьте о них. Мы ведь не только новый город построили — новый мир...

— В котором я как Кэвор у селенитов, — добавляю я, надеясь смутить Виктора. Наверное, он не читал романа Уэллса.

Но смутить его трудно.

— А ведь Кэвор остался у них не так уж случайно, — парирует он удар. — Если помните, он к этому морально был подготовлен.

Возразить мне нечего.

## 2

На предложение Гали пойти в Парк культуры я согласился только из вежливости. Мне хотелось побывать совсем в другом месте — в маленьком переулке, доживавшем даже не дни, а часы.

Он и полвека назад был дряхлым, облезлым, почерневшим от грязи стариком. Его мостовая, утыканная крупными, бесформенными булыжниками, горбилась посредине и провалилась по концам, пугая редких извозчиков-смельчаков. Между камнями росла

трава, и торчали стекла от разбитых бутылок. Подслеповатые деревянные домишки отгораживались друг от друга искривленными тополями и липами, гнилыми заборами и сараями, встречавшими прохожего запахом выгребных ям. В Москве было много таких переулков, и он ничем не выделялся из них, кроме того, что здесь жила Машенька, моя первая и единственная, до сих пор не забытая любовь.

Она работала в мастерской дамских шляп на Малой Бронной, где после шести каждый вечер я поджидал ее на бульварчике у Патриарших прудов. Отсюда мы шли пешком через всю Москву в этот забытый богом и людьми переулок.

На углу его белой вороной стоял древний дворянский особнячок, вечно пустой и запущенный. Кроме глухой сторожихи, там никто не жил, и никто не тревожил нас, когда мы, раздвинув сломанные зубья решетки, пробирались во двор и усаживались на скамеечке, скрытые от улицы в густых кустах бузины. Отсюда сквозь пролом в стене Машенька уходила к себе во двор соседнего дома. Она была сиротой, брошенной на попечение не любивших ее родственников. Одни жили где-то в Самаре, другим принадлежал этот бревенчатый дом, который здесь уважительно называли доходным. Я тогда увлекался Горьким, и все Машенькино окружение в горбатом переулке казалось мне живым воплощением Окурова, откуда я мечтал вырвать и увезти ее навсегда. Увы, только мечтал. Я не смог этого сделать даже тогда, когда она призналась мне в том, что у нас будет ребенок.

В семнадцатом году я кончал юридический, жил на средства отца и в любой момент мог лишиться даже карманных денег, водившихся у меня редко и в ничтожном количестве. О женитьбе на Машеньке с согласия родителей нечего было и думать. Не могли мы и тайно обвенчаться: с моим англиканским вероисповеданием это обошлось бы в Москве не дешево. Тогда мы решили сделать это в Самаре. В конце октября Машенька выехала из Москвы, обе-



щав тотчас же по приезде написать обо всем. А через несколько дней началось вооруженное восстание в Москве.

Маша не написала, ее самарского адреса я не знал, мир, с которым мы связывали свои мечты и надежды, лежал в развалинах. Остаться в Москве у меня не хватило мужества. Я взял клятву с Жени Пикерстиль, вышедшей замуж за армейского подпоручика, при первой же возможности разыскать Машеньку, оставил письмо для нее и уехал. И никогда не услышал больше ни о Машеньке, ни о Жене. Так все кончилось.

Что было потом, неинтересно. Я жил, как уэллсовский мистер Бритлинг, скучно и респектабельно. Занимался гражданским судопроизводством, женился и не заметил, как прошла жизнь. О Москве не вспоминал, забыл, заставил себя забыть. Только под старость память все чаще и чаще напоминала о доме с водопроводной колонкой во дворе в тихом московском переулке, мощенном крупными диковинными булыжинами.

Я пошел туда на другой же день по приезде в Москву. В первый не рискнул — испугался, откладывая это, как откладывают мучительное объяснение с близким человеком. Но уже первые шаги в Москве, первые разочарования на берегах моего потонувшего Китеж-града подсказали мне, что бояться нечего, что, вероятнее всего, я никого не найду, ничего не узнаю, оборванная страница былого так и останется непрочитанной.

И вот передо мной этот переулок, я почти узнал его, как после долгих-долгих лет узнают старого друга только по улыбке или смешной морщинке у глаз. Знакомый особнячок, опоясанный чугунной решеткой, все еще стоял на углу. Он даже посвежел почему-то, подкрасился, подновил поломанную решетку, а кусты бузины во дворе, скрывавшие нашу скамейку, разрослись еще гуще. У дверей с улицы появилась вывеска, которой не было раньше: «Интернациональный детский дом имени Клары Цеткин», но в

доме по-прежнему никто не жил и в саду, как и тогда, таилась настороженная тишина.

— Уехали, — сказала проходившая мимо женщина, заметив мой растерянный вид, — дом ломать будут. Кругом ломают, видите?

Переулок действительно доживал последние дни. Он даже не раздвинулся, а как-то растянулся вширь, булыжная мостовая скатилась в кучи камней по краям — их заглатывали ковши двух маленьких экскаваторов, ссылая в обшарпанные грузовики-самосвалы. Те же экскаваторы, должно быть, срезали и горб на спине переулка.

Домишки по одной его стороне бесследно исчезли, словно их сдуло ветром, оскорбленным зрелищем этого деревянного хлама. А позади во всю длину переулка вырос розовый восьмиэтажный домина, вырос и уперся в соседа с другой улицы — она двигалась издали, с пригородов, проглатывая старенький переулок, как питон кролика. Проглатывая, но еще не проглотив: пять-шесть почерневших бревенчатых старичков еще стояли на другой стороне его, покорно ожидая кончины.

Машенькин дом торчал среди них все тем же невзрачным близнецом, только вместо снесенных ворот зиял проезд между двумя закопченными флигелями. Здесь стоял грузовик, на который сносили мебель.

Женщина, только что говорившая со мной на улице, зычно командовала погрузкой.

— На попа, на попа ставь! Бочком к оттоманке. Слышь?

Два парня в вылинявших футболках, поставив на платформу рыжий, пузатый шкаф, молча ушли в дом. Женщина, ничуть не удивленная моим появлением, ликуя улыбнулась. Счастье переполняло ее.

— На другую квартиру переезжаем, — объявила она. — В новые дома. Седьмой корпус.

— А этот свое уже отжил, — сказал я, оглядывая флигель.

— Давно пора. Уже все переехали.

— И Трошины?

— Какие Трошины?

Я показал на пару верхних раскрытых окон.

— Не-ет, — протянула она, — это лекаревские. А подале — Сычуков.

— Может быть, Трошины раньше жили?

— Не знаю. Я здесь с сорок второго. Из разбомбленного дома вселили. Может, до войны?

— Они давно жили, — сказал я.

Мираж уходил.

— Погодите. Наверное, бабушка помнит. Пелагея Никоновна! — закричала она в открытые окна. — Бабушка!

— Не кричи. Не глухая, — послышался старческий басок, и на крыльцо выплыла широкоплечая прямая старуха, каких в молодости зовут бой-бабами. Одну такую я здесь помнил. Как ее звали? Поля, кажется. Пелагея Никоновна? Не знаю. Может быть.

Рыжая, грудастая девка стояла тогда у ворот и смеялась над студентом, опрокинувшим на себя ведро воды у колонки. «Машу-ня! Штаны ему посуши. А то простынет...»

Она?

Я растерянно всматривался в суровое пергаментное лицо старухи и не узнавал.

— Вот гражданин Трошиных ищет, — женщина у грузовика кивнула на меня, — были такие, не знаете?

— Трошиных? — переспросила старуха, окинув меня цепким, оценивающим взглядом. Должно быть, оценка была не из высоких. — Давно не живут.

Теперь она подошла ближе и смотрела на меня строго и недоверчиво.

— А кто из Трошиных вам требуется?



— Мария Трошина, — сказал я робко. — Маша. Не помните? Старуха не ответила.

— Вы посмотрите здесь, Пелагея Никоновна, — вмешалась позвавшая ее женщина, — а я наверно схожу. Хорошо?

Старуха даже не обернулась.

— Машуня, — прошептала она. — Доброго человека вспомнили. Давно отсюда уехала, в войну. Втроем и уехали.

— Втроем? — я не мог скрыть своего удивления.

— Втроем. С дочерью и внучкой. Три года девочке было. Говорят, мать у нее там и померла. В эвакуации. Был такой слух.

Я ничего не понял.

— Простите, кто умер? Маша?

— Зачем Маша? Дочка у нее померла, Ольга. А Маша — не знаю. Может, и до сих пор жива.

— Пелагея Никоновна, расскажите мне о Машеньке... все, что помните. Мне очень важно знать... Вы даже не представляете себе, как это важно...

Просьба моя, может быть даже помимо воли, прозвучала так взволнованно, что старуха чуть-чуть улыбнулась. Глаза ее потеплели.

— Ну что ж... Вон крылечко — присядем, — она указала на другое крыльцо в глубине двора. — Там уже все уехали.

Мы сели на ступеньках возле старого искривленного тополя. Окна напротив были раскрыты настежь — там тоже уехали.

— Что же рассказывать-то, — задумалась старуха, — родственница она вам, нет? Много горя видела женщина. Мужа у ней кулаки в двадцать девятом убили. Детей сама вырастила.

— Детей?

— Двоих. Сын у нее большой человек сейчас. Архитектор. Сажин фамилия. Может, слышали?

— Когда же она замуж вышла?

— В гражданскую. Вскорости как из деревни с дочкой приехала. Дочь-то у нее от первого. Мужа не мужа, а так вроде. Пустой человек был, студент. Бросил он ее.

— Он не виноват, — пробормотал я и не узнал собственного голоса, — совсем не виноват. Он не хотел... Так случилось.

— Все они такие невиноватые, — презрительно процедила старуха.

— А письмо? — спросил я. — Он оставил письмо для нее...

— Не знаю. Чего не помню, того не помню. Переживала она очень.

И старуха посмотрела мне прямо в глаза, сразу прочитав в них все, что я прятал.

— Много годков прошло, — усмехнулась она, — состарились мы. Сразу и не узнать...

— А вы... узнали?

— Догадалась. Кому ж еще о ней спрашивать.

— И не осуждаете?

— Я не судья всевышний. Вы бы к сыну ее сходили. Он здесь, в Москве, проживает.

— Бабушка! — закричала женщина с крыльца напротив. — Я дверь запираю.

— Не кричи. Не глухая, — сказала старуха и встала. — Ну прощай, студент.

— Прощайте, Пелагея Никоновна.

Я низко поклонился ей и пошел на улицу.

Архитектора Сажина Николая Федоровича я разыскал легко. Он жил в надстроенном доме под самой крышей с огромным окном в небо, как парижские художники-мансардисты.

На мой звонок он сам открыл дверь. Сажину, наверное, было около сорока, но выглядел он моложе — молодили глаза, озорные, насмешливые, совсем мальчишеские глаза.

В его кабинете с покатою стеной-окном было светло, как на улице. Я огляделся, ища портретов на стене, но повсюду висели только чертежи — архитектурные проекты хозяина.

— Интересуетесь? — оживился он, перехватив мой взгляд. — Все новые работы. И здесь, и здесь... А вот это — на Внуковском шоссе, на четырнадцатом километре. Не квартал, а кварталище.

Мне показалось, что он хвастает. А может быть, это была законная гордость? Я вспомнил Тоню Барышеву.

— А почему не город-спутник? — спросил я небрежно, представляя себе эту урбанистическую загадку чем-то вроде коттеджей в лесу. — Там лес, кажется? Будет жаль, если погибнет.

— Кто вам сказал, что погибнет? — вспыхнул Сажин. — Лесной массив мы сохраним. Будет создан не только новый географически, но и новый по методам строительства экспериментальный квартал.

Вспышка погасла. Профессиональное уступило место человеческому.

— Простите, увлекся. Чему обязан?

— У меня к вам особое дело, — замялся я.

— Вы архитектор?

Я отрицательно покачал головой.

— Строитель?

— Нет. Дело совсем частное. Только не удивляйтесь. Ради бога не удивляйтесь. Просьба моя покажется вам, вероятно, странной... но, уверяю вас, для меня это все очень важно...

Он смотрел на меня с любопытством. Но как трудно, как мучительно трудно было произнести это.

— Расскажите мне о... вашей матери и сестре.

— Кто вы такой? — спросил он.

Я назвал себя. Наступила пауза, как в цирке во время опасного номера. Не хватало только барабанной дроби. Он все смотрел на



меня и молчал. Я даже не ожидал, что одно только имя мое вызовет такую реакцию.

— Интересно, — наконец заговорил он, — знаменитый семейный миф претворился в действительность. Ну и ну! Дайте я на вас как следует подивлюсь.

Он вскочил с кресла и, отойдя, посмотрел на меня, прищурился одним глазом и склонив голову набок, как делают художники на выставках своих собратьев.

— Ни черта нет в вас иностранного. Обыкновенный собесовский старичок. А разговор... Ни за что бы не поверил, — он развел руками. — А вы не привидение?

Я молчал выжидательно и настороженно. Сажин тоже.

— Напрасно ехали, если надеялись оживить воспоминания, — переменял он тон. — Мать умерла четыре года назад, а Ольга еще раньше, в эвакуации.

— Скажите, — спросил я, — Маша... Мария Викторовна никогда не рассказывала вам о письме, которое я оставил ей уезжая?

— Нет. Но она никогда не осуждала вас.

Я опустил голову еще ниже. Старческие слезы так же солонны, как и в дни первого горя.

— Я не спрашиваю, почему вы раньше не приезжали. Вероятно, были причины. Но спросить кое-что хочется, — вежливо сказал Сажин и усмехнулся. — Не каждый день приезжают такие гости из-за границы.

Я пожал плечами — не все ли равно теперь.

— Спрашивайте.

— Все-таки что побудило вас приехать в Москву? Особенно после стольких лет равнодушия, может быть даже враждебности?

— Не те слова. Не равнодушие и не враждебность.

— Тогда филантропия?

— Я вас не понимаю.

— Желание по-христиански исправить зло, содеянное в молодости.

Я встал.

— Кажется, мы оба не понимаем друг друга.

Он с силой усадил меня опять.

— Не обижайтесь. Для меня вы человек с того берега. Я просто хочу вас понять. Неужели безотчетно потянуло на старости лет? Тоска по родине?

— Настоящий англичанин счел бы ваш вопрос оскорбительным, — сухо ответил я. — Но формально вы правы. Я здесь родился.

— Ага, — обрадовался он, — вот мы и договорились. Настоящий англичанин! А вы не настоящий, нет! Здесь ваша родина, Иван Андреевич, и никуда вы от этого не уйдете. Небось Пушкина наизусть учили. И песни наши пели. Не «Типперери», а «Коробочку»! Здорово я вас раскусил? — Он засмеялся, очень довольный. — Значит, Москву-матушку приехали посмотреть? На белокаменную полюбоваться? — Нет больше Москвы-матушки.

Он пренебрежительно отмахнулся.

— Есть еще. Хотите, сведу? И переулочки горбатенькие найдем, и дома, построенные при царе-кесаре. Торчат они кое-где, как лишайник. Можете умиляться.

— Я уже умилялся, — отпарировал я. — Даже на крылечке посидел.

— Вот как?! Где?

— В доме вашего детства.

— Не снесли еще? Жив?! — захохотал Сажин. — Ну и монстр! Все равно ему капут скоро. Всему переулку капут.

— Увы, — вздохнул я. — Видел.

Должно быть, в словах моих прорвалась все-таки предательская нотка сожаления, потому что Сажин тотчас же насмешливо процитировал:

— «И стало беспощадно ясно: жизнь прошумела и ушла». Так, Иван Андреевич?

Я промолчал. Мне уже не хотелось ни о чем спрашивать. Прошлого не было. Настоящее не интересовало.

— Все, — сказал я, — надо возвращаться. Не удалась моя встреча с юностью.

Колючие, насмешливые глаза Сажина весело заискрились.

— Не говори гоп, Иван Андреевич, — хитренько подмигнул он мне и тут же не выдержал — рассмеялся. — Так и быть, устройю вам встречу с юностью. Пощекочет нервишки. Да не смотрите на меня, как на фокусника. Все очень просто: у Ольги осталась дочь. Ей сейчас двадцать один.

Я вспомнил рассказ Пелагеи Никоновны — он как-то вылетел у меня из головы после слов Сажина. Трехлетняя девочка... Как я мог об этом забыть?

— Неужели?..

— Вот именно. Внучка, Иван Андреевич. И сирота. Батяка на фронте погиб, на Курской дуге. Галина, Галя.

— Она знает?

— О вашем существовании? Конечно. Ни мать, ни отец из этого тайны не делали. Вообще мы в детстве были ужасно заинтригованы — таинственный родственник из романов Гранстрема! Ольга, помню, даже мечтала: хоть бы разок на него посмотреть. Отцом вас она не звала — только «он». И классовую грань, извините, проводила решительно. С детства. «Почему он маму бросил? Потому что буржуй».

— Буржуй, — повторил я с горечью. — Галя тоже так думает?

— Когда Галка выросла, вы уже стали мифом. Ваша внезапная материализация ее, наверное, заинтересует — девчонка любопытная. Впрочем, — Сажин сочувственно усмехнулся, — не очень рас считывайте на взрыв родственных чувств. Галка, если хотите, это — «сэлф мейд вуман» — в опоре не нуждается. Жить у меня



отказалась — в общежитие переехала, а замуж вышла — мы только через год об этом узнали.

Я слушал рассказ Сажина как отголосок чужой жизни, ставшей вдруг близкой и до жути волнующей. Бывает так: вы останавливаетесь в гостинице и замечаете в окне напротив частицу чужой, непонятной жизни. Изо дня в день вы наблюдаете ее, и непонятное становится понятным и притягательным. Что-то угадываешь, что-то припоминаешь, что-то настораживает и манит. Тихо шумит чужая жизнь, и вы становитесь невольным ее участником. Такое же ощущение возникло сейчас у меня.

— Галка — это совсем новое поколение, боюсь, вам уже вовсе непонятное, — продолжал разговорившийся Сажин. На мою удачу, он, видимо, любил поговорить. — Наше поколение вы еще можете себе представить, мы — продукт эпохи, от которой вы бежали, большевистского штурм унд дранга. Мы росли, как молодой лес на пожарище. Вынесли и стужу, и засухи, и пургу, и бури. Выстояли и выросли. Теперь подлесок растет, и взгляните: такой лес вырастет — ахнете! Дети социализм начали строить, а внуки уже к коммунизму тянутся. У них и шаг шире, и прошлое на ногах не виснет, назад не оглядываются. Вот с Галкой познакомитесь, а еще лучше с мужем ее, Виктором, — смотрите в оба, Иван Андреевич: таких у себя вы наверняка не увидите.

Дверь приоткрылась, и звучный женский голос спросил:

— Будешь ужинать, Коля?

— Поужинаем? — подмигнул мне Сажин.

Я отказался.

— Ну как знаете. И мне, пожалуй, не хочется. Тонечка, — повысил он голос, — резервируй ужин на более поздний срок. У меня еще дела есть.

Он взял телефонную трубку и взглянул на меня с лукавой усмешечкой.

— Хотите с Галкой встретиться, а?

И, не ожидая ответа, набрал номер.

— Амбулатория? Галю можно? А когда освободится? В девять. Отлично. Вот и передайте: Николай Федорович вышел к ней в восемь пятнадцать. Идет пешком по правой стороне улицы. Пусть выходит навстречу.

Без лишних слов мы поднялись.

— Трепещите перед экзаменом, — засмеялся Сажин и открыл дверь.

...Мы вышли на Садовую, спустились к Смоленской площади и, не доходя, остановились на углу улицы, в начале которой, вернее, посредине ее уцелел желтый купеческий особняк, рассекавший ее дельту на два узких канала, а за ним уже ничем не разделенная широченная улица устремлялась вниз к освещенному высокими огнями мосту через Москву-реку.

— Узнаете? — спросил Сажин.

Я недоуменно промолчал.

— И немудрено. Это — Кутузовский проспект, новая московская магистраль. Здесь еще она попахивает прошлым: как-никак склеена из двух переулков, а вот дальше пойдем — увидите. Вы ходок хороший?

— Пошли, — сказал я.

И мы пошли. Улица была тиха и пустынна, и только мимо, не останавливаясь, как на гонках, неслись одна за другой легковые машины. Несчетные огоньки, отражаясь, мерцали в темном речном зеркале. Ступенчатый массив гостиницы «Украина» сверкал всеми своими этажами по ту сторону реки. Я чувствовал себя Гулливером, рискнувшим прогуляться по вечернему Бродиньяду.

Сажин не отвлекал меня разговорами, он проста время от времени поглядывал на меня с любопытством, как бы проверяя мои впечатления. Неужели он думал, что я буду восхищаться? Эти огромные каменные коробки, окаймлявшие строгим, почти суровым

орнаментом не очень светлую, широкую улицу, часто недостроенные, с темными глазницами окон, к которым еще не прикасались ласковые руки хозяек, с однообразно плоскими фасадами без колонн и балконов, вызывали у меня тоскливое чувство одиночества. Душа алкала света, обилия света, ослепляющих магазинных витрин, пестрящих неоновых вывесок, множества огней на фронтонах кинотеатров, у домовых подъездов, высоко над улицей. Хотелось, чтобы широкие тротуары заливал шумный поток прохожих, чтобы в ушах звенел громкий смех, обрывки разговоров, музыка из открытых окон.

Я сказал об этом Сажину, он засмеялся.

— Все это будет, и очень скоро. Вы присутствуете при рождении улицы, первых часах ее жизни. У себя вы этого не увидите. У вас новая улица — это минимум десятилетия, а старая — уже история, века. Пикквик сейчас не заблудится ни в Сохо, ни в Сити. А у нас, скажем, Чацкому пришлось бы кричать: караул, где я?! Старая Москва умирает и новая рождается у нас одновременно на всем гигантском пространстве города, и в центре и на окраинах. И это, пожалуй, самое характерное в облике Москвы пятьдесят девятого года.

Сажин говорил увлеченно и громко, как с трибуны, не понижая голоса. На него оборачивались. Здесь было болеелюдно и светло. Только что кончился сеанс в кинотеатре напротив, и люди расходились, заполонив широкие тротуары. Сверкающие витрины «Гастронома» бросали на асфальт большие квадраты света. Концентрированное сияние дня, разлитое в продолговатые стеклянные колбочки, заливало рассеянным светом витрины фруктового магазина. За пирамидками груш и яблок из папье-маше как будто всходило солнце, прятавшееся в прозрачных, блистающих облаках.

— Ага, — обрадовался Сажин, — уже не чувствуете себя одиноким! Обжита улица. А вот и милые вашему сердцу балконы и



лоджии, — он указал на дом напротив с темными лепными украшениями по углам. — Несколько лет назад мы строили и такие. Теперь одумались. Отрыжка барокко — неэкономично и бесполезно.

— Философия бедности, — съязвил я.

Сажин как-то искоса посмотрел на меня и усмехнулся.

— А что смешного? — обиделся я. — Бедность есть бедность. Голодный тоже мечтает о хлебе, а не о зернистой икре.

Он засмеялся громко, с добродушным превосходством учителя над не в меру строптивым учеником.

— Не помогает мимикрия, Иван Андреевич, не помогает. Наша рубашечка, — он ткнул меня пальцем в грудь, — а нет-нет да и выплянет из-под нее этакий просвещенный британец. Философия бедности! — повторил он презрительно. — Не бедности, а необходимости! Необходимости дать удобное, светлое жилище миллионам людей, и дать как можно скорее. Неужели вы не видите грандиозности задачи? Я вижу. И грандиозность и поэтичность.

Он замолчал и прибавил тихо, почти устало:

— Вот что надо видеть в Москве сегодня. Сейчас. Профиль будущего. И людей, которые его строят. Да вот вам одна из них.

И Сажин весело подхватил бросившуюся к нему девушку в светлом пыльнике. Что-то знакомое вдруг мелькнуло в ее лице и тотчас же исчезло, в каком-то движении, в каком-то ракурсе на мгновение воскресив прошлое. Так вот она, Галя.

— Что случилось, дядя Коля? — спросила она.

— Ничего страшного, — усмехнулся Сажин, — но нечто любопытнее все-таки произошло. Материализовался дух твоего предка, Галочка. Знакомся. Перед тобой твой таинственный английский дедушка.

Если Сажин рассчитывал смутить Галю, он ошибался.

— Здравствуйте, — сказала она просто.

— Здравствуй, Галя.

Мне хотелось назвать ее нежнее и ласковее, но у меня ничего не вышло.

— Ой, как вы хорошо говорите по-русски!

— Как видишь, не разучился.

Сажин стоял в сторонке, хитренько улыбаясь.

— Я, пожалуй, покину вас, — сказал он. — Вон мой автобус идет. Вы и без меня договоритесь.

Но прошло не десять и не двадцать минут, пока мы договорились. Наш разговор напоминал серию вопросов и ответов из англо-русского разговорника, причем спрашивала только Галя. Я отвечал послушно и предупредительно, как ученик на экзамене.

— Почему вы раньше не приезжали?

— Как-то не получалось, Галя. То было некогда, то не решался. Не так легко совершить экскурсию в прошлое.

— Разве вы приехали в прошлое?

— К счастью, я ошибся.

— Я знаю от бабушки все. Но если вы любили, зачем уехали?

Ее синие глаза смотрели строго-строго. Что я мог ответить ей?

— Я написал ей, Галя. Тогда я не мог иначе.

— Струсили. Впрочем... — Галя задумалась и прибавила уже мягче: — Бабушка никогда о вас плохо не говорила. Должно быть, не мне судить. А все-таки... — она дернула плечиками, — не понимаю я... От любимого можно уйти лишь тогда, когда чувствуешь, что мешаешь ему, что стал или можешь стать ему в тягость...

Целый квартал мы шли молча. Я искал слова и не находил. Разговор возобновила Галя, и так же стремительно, как и начала.

— У вас есть семья в Англии?

— Была. Сейчас никого, кроме Джейн.

— Это ваша дочь?

— Внучка. Такая же, как и ты. Деятнадцать лет.

— Я старше. А она красивая?

— По-моему — да. Впрочем, я плохой судья.

— Не такая, как я, уродина?

Я мысленно поставил Джейн рядом с ней. Галя была не хуже.

— Ты похожа на бабушку, Галя.

— Скажете тоже. Бабушка красавица была, — глаза у Гали заблестели. — А все-таки чудно. Вдруг оказалась сестричка в Англии. Ну не сестричка, а вроде. Она не говорит по-нашему?

— Нет, Галя. Ни слова.

Она вздохнула.

— Жаль. Значит, не сговоримся. А то хотелось бы поглядеть на нее.

— Почему же нет? Приедешь — познакомишься.

— А почему она с вами не приехала?

— Она служит, Галя. А фирма Клепхем не дает отпусков.

— Даже за свой счет?

— Увы.

— Я и забыла, что у вас капитализм, — сказала она с нескрываемым сожалением.

— Капитализм, — согласился я. — Только все это гораздо сложнее.

— Читала, — равнодушно заметила Галя — И ребята рассказывали. Которые ездили. А у нас вам нравится?

— Я еще многого не понимаю, Галя.

— Поймете. Поживете и разберетесь. Вы где остановились?

— В гостинице.

— А вы к нам переезжайте. У нас две комнаты — поместимся. А то, можно сказать, родственник, и вдруг в гостинице. Нехорошо.

Я не мог сдержать улыбки. Галя вспыхнула:

— А вы не смейтесь. Конечно, нехорошо. Только я вас буду звать Иван Андреевич. У меня уже был один дед. Ладно?

— Зови как хочешь. Ты — прелесть, Галя. Знаешь, на кого ты сейчас похожа? На добрую девочку из сказки, пожалевшую старого колдуна.

Я искренне любовался ею.

— Это вы-то колдун? — засмеялась она. — Нет, вы хороший. Только... — она испытующе посмотрела на меня и замялась.

— Что только?

— Не такой, как мы. И такой, и не такой... — Галя смущенно подыскивала слова, — что-то есть в вас... не наше. Вы не сердчайте, но что-то действительно есть. Или в разговоре, — она почему-то взглянула на мои руки, — или вот как вы шляпу держите. Почему вы ее сняли и не надели?

Как объяснить ей?

— Шляпу всегда снимают в церкви. А я чувствую себя сейчас как в церкви. Ты это понимаешь, Галя?

Она опять замялась.

— Не знаю... Тот, другой мой дед... никогда бы так не сказал.

И мне показалось, что прошла по крайней мере минута, прежде чем она добавила просто и задумчиво:

— А может, все потому, что я к вам еще не привыкла. Вот переедете и — привыкну. И Виктор рад будет. Он до людей жадный,

...Так я переехал на восьмой этаж нового дома в квартиру знатного токаря Виктора Черенцова.

### 3

Он сразу же ушел на завод после завтрака. Мне уйти не удалось — Галя просила дождаться ее, она собиралась ненадолго в амбулаторию.

— Зачем, Галенька? Сегодня же воскресенье.

— А у нас непрерывка. У меня, правда, выходной, но сегодня Ритка в хирургическом. Боюсь — не справится. В четверг Петьку Холопова с порезом привели. Кровь так и хлещет. Ритка, как уви-



дела, так сразу в обморок. Даже Мария Кондратьевна расстроилась.

У Гали обостренное чувство долга. Я не совсем понимаю, перед кем. Перед нанимателями, обществом? У меня оно тоже было: за сорок лет ни одного замечания. Но фирма Клепхем не подарила своему юрисконсульту ни одного лишнего пенни, а я не отдал ей ни одной лишней минуты. Мы квиты. Так же работает Джейн.

Галя почему-то думает и действует иначе. Может быть, она хочет помочь подруге?

— Да она мне вовсе не подруга, зануда она и задавака.

— Может быть, мало опыта у врача?

— Конечно. Мария Кондратьевна всего второй год работает.

Я, кажется, начинаю понимать.

— Значит, хочешь помочь неопытному врачу?

— Почему неопытному? И опытный был бы — все одно пошла бы. В воскресенье матери свободны, детей приводят. Они как птички раненые — сидят в хирургическом забинтованные. Жалко.

— Так ведь есть же дежурная сестра. И, конечно, опытная.

— Все одно беспокоино. Как там? Нет уж, пойду. Надо.

Пока я размышлял, у дверей позвонили.

— Откройте, Иван Андреевич, — крикнула Галя из ванной, — я пока оденусь!

Я открыл дверь и невольно шагнул назад. Передо мной стоял мой собеседник с автобусной остановки в Филиях. Только сейчас я обратил внимание на оттенок его загара — он отливал медью. Так загорают только на юге.

— А-аа, — протянул он, узнав меня, — вчерашнее воскресенье. Здорово, дедуля.

Он уверенно вошел в переднюю, бросил взгляд на Галин пыльник на вешалке и рассеянно обернулся ко мне.

— Ты чей дедок — Галкин или Виктора?

— А вас почему это интересует? — спросил я.

— Меня это совсем не интересует. Я из вежливости, — засмеялся парень. — Галка дома?

— Она одевается, — буркнул я. Парень мне явно не нравился.

— Не гордые — подождем, — сказал он и прошел в комнату.

Даже не взглянув на оранжевую Виктора, он присел к столу и засвистел.

— Нехорошо, — заметил я укоризненно.

— Что плохо?

— Свистеть.

Он оглядел комнату и ухмыльнулся.

— Верующий? А икон нет — значит, можно.

Но свистеть перестал. Я выжидающе смотрел на него.

— Что глядишь? Дивуешься?

— Загорели вы очень.

— В степи, — равнодушно пояснил он. — На целине.

Я буквально выпучил глаза. Передо мной был живой человек из того, почти как Антарктида, страшного мира, каким со страниц «Дейли мейл» выглядят советские целинные земли.

— Сбежал? — спросил я.

— Дураки бегут, а я в отпуск приехал. Дело есть.

— А как там?

— Ничего. Наворачиваем.

— В землянках живете?

— Много вы о нас знаете, — фыркнул он и сплюнул.

Плевков пролетел на некотором расстоянии от меня и очень точно попал в раскрытое настежь окно. Я отшатнулся.

— Удивляешься, — засмеялся парень. — Это я в степи научился. Пылища по дорогам — смерть. Все горло забьет. А живем ничего. Получше вашего живем. Кровати с шишечками. Радио.

— Ого, — сказал я дипломатично.

— Амбулаторию открыли. Вот я и приехал за Галкой.

— За Галкой? — удивился я. — А Виктор?

— Виктор ей ни к чему. У него ни души, ни сердца — одна электроника.

— Ну, знаете... — начал было я.

— Знаю, если говорю, — отрезал парень. — Я за Галкой топал, когда тебя, дедок, здесь не было. Так бы душу вынул и на стол положил — на, бери, делай что хошь. Не взяла.

Он произнес это с такой откровенной горечью, что язвительная насмешка застыла у меня на губах. Я только спросил:

— Думаете, теперь возьмет?

Он помолчал, потом сказал, глядя в окно:

— Вызволить ее надо. Пропадет она с ним.

— Кого это ты вызволять собираешься?

В дверях стояла Галя. В синих глазах ее светился смех.

В первый раз увидел я, как он смутился. Кровь густо прилила к его лицу и шее. Даже стойкая сила загара не смогла скрыть этой предательской красноты.

— Когда ты только поумнеешь, Павел?

— Да вот как вижу тебя, так и дурею.

— Значит, и видеть не надо.

— А если такая дурь любого ума слаще, — нахохлился Павел.

— А мне в ней какая радость? На дурь и ищи дур! Она подошла к зеркалу, кокетливым жестом поправив волосы. Павел стоял, опустив глаза, и не видел того, что увидел я: Галя отнюдь не сердилась.

— Давно приехал?

— Дня два.

— Когда назад собираешься? Или совсем не собираешься?

— Это от тебя зависит, Галка. Как ты захочешь.

— Значит, завтра и уедешь.

— Какая ты злая, Галина.

— Да уж какая есть.

Должно быть, растерянность Павла ей показалась забавной, потому что она громко рассмеялась и прибавила добродушно:

— Не расстраивайся, Павлуша. Я шучу. Лучше проводи меня до уголка.

— А ты не шути, — сказал упрямый парень. — Меня этим не отошьешь. Я прилипчивый.

— Ну пойдем, прилипчивый.

Появление Павла и Галина радость, плохо замаскированная наигранным пренебрежением к гостю, заставили меня призадуматься. Злые слова Павла об «электронике» вместо сердца у Виктора также наводили на размышление. Что-то уже так прочно связало меня с

Галей и Виктором, что я не мог отнестись безразлично к ощущению неведомой опасности, занесенной ветром с целинных земель.

Сказать или не сказать Виктору? И что сказать? И не покажусь ли я на старости лет смешным гидальго из Ламанчи, забывшим о том, что в этом уголке подлунного мира действуют совсем иные моральные критерии и законы?

Пока я размышлял об этом, пришел Виктор, и пришел не один. Его сопровождали Николай Дорохов, Света Минчук и Федя Семячкин. Курносенький Ежик Белкин с аккордеоном через плечо замыкал шествие. Все они работали в одной бригаде с Виктором, хотя я имел очень смутное представление о том, что такое бригада. Средний возраст их не превышал двадцати.

— Вот и хорошо, Иван Андреевич, — обрадовался Виктор, увидев меня дома, — с нами посидите. Ребят моих вы знаете.

Мы условились с Виктором и Галей, что для всех окружающих я буду просто их дальним родственником, приехавшим погостить на лето. «Тихонький старичок», как меня окрестили соседи, ни в



ком не возбуждал любопытства. Не заинтересовались мной и гости Виктора.

— У нас тут небольшое собрание, — пояснил он мне, — поговорим о жизни и вообще... Поинтересуйтесь, если хотите.

На мальчишеском лице Ежика отразились разочарование и недовольство. У него даже аккордеон всхлипнул.

— На заводе собрание, в клубе собрание, — протянул он, — я думал, пивка выпьем, поиграем...

— Бесаме мучо, — съязвила Света.

— А что? Сила — песенка.

— Потом, — поморщился Виктор. — Не было бы дела, не по-звал бы.

— А может, перенести? Не все ведь собрались. И Снегирева нет, — сказал Дорохов. Шрам на щеке, оттягивающий верхнюю губу, придавал лицу его суровое выражение.

— Это какой Снегирев — инженер? — спросил Ежик. — А он зачем?

Виктор промолчал, о чем-то раздумывая. Ежик настаивал:

— Зачем инженера тянуть?

— Где ты был, сопляк? — вмешался Федя. — Лабораторию Виктору дают. Не слышал, что ли?

— Ну, знаю.

— Инженера к ней прикрепляют и чертежницу.

— Это какая лаборатория, Витя? — заинтересовался я.

— Ну как бы вам объяснить попроще... Нечто вроде постоянно действующей группы рационализаторов. Подобрались люди разных специальностей — токари, карусельщики, заточники. Словом, комплексная бригада. Только каждое техническое улучшение будем искать не кустарно, а лабораторным путем. Вместе с инженером, конечно.

— Вот бы и собрались вместе. Лучше бы со Снегиревым, — все еще сомневался Дорохов.

— Нет, — возразил Виктор, — не о работе пойдет речь: — о жизни. Со Снегиревым еще будет что обсуждать. А пока нам его догонять нужно. Отстали.

— Это в чем же отстали? — задорно откликнулась Света. — А если он отстал?

— Если отстал — подтянем. Только я о культуре говорю — тут спорить нечего.

— Да ведь учимся, — сказал Дорохов, — кто на вечернем, кто на заочном. О тебе и говорить нечего. Ежик только. Так и он с осени обещал.

— Обещанка-цацанка, а дурному радость, — не утерпела Света.

Ежик нахмурился.

— Думаешь, не сдержу? Нет?

— Нет.

— Уже документы подал.

— Врешь. Куда?

— В техникум.

— Я не с кухни кума, я из техни-кума, — фыркнула Света. — Все равно врешь.

— Да будет вам, — остановил их Дорохов. — В чем Снегирев нас обогнал? Только в технике. Так сразу не догонишь — инженер.

В глазах у Виктора появилось уже знакомое мне выражение упрямого терпения. Я знал, что оно не исчезнет до тех пор, пока он не объяснит всего, что им непонятно. Виктор мог объяснять часами, не проявляя ни малейших признаков раздражения. Я испытал это на себе.

— Хочешь знать, в чем он нас обогнал? На прошлой неделе он был на концерте Ойстраха. А мы были? Нет. Кто из нас интересуется серьезной музыкой? Никто. Еще пример. Встречаю Снегирева на книжном базаре у библиотеки Ленина. Смотрю, книжки покупает. Багрицкий и Брюсов. И то и другое — стихи. А знаем мы та-

ких поэтов? Не знаем... или мало знаем, — поправился он, заметив протестующее движение Светы. — И не любим стихов. Не читаем.

— Я Есенина люблю, — сказал Ежик.

— Ну а кроме? Молчишь. А кто «Гамлета» в театре видел? Света видела... Больше никто? А Снегирев в двух театрах его смотрел. Зачем, спрашиваю? Для сравнения, говорит.

— Всего не посмотришь, — сказал Дорохов.

— И не прочтешь, — добавил Федя.

Оппозиция только подхлестнула Виктора. Он ринулся в атаку, как танк, подавляя батареи противника,

— Ну и что? Не прочтешь всего, и не надо. А что прочтешь — твое. Я вот о чем: работа не может и не должна целиком поглощать человека. И чем дальше, тем у нас будет все больше свободного времени. Все время учиться тоже нельзя — надо отдыхать. А как? Я много думал об этом, и вот что вам скажу. Пить водку, песни горланить или весь вечер лежать на брюхе у телевизора — это не занятие для настоящего человека. Надо чем-нибудь интересоваться помимо дела. И чем больше интересов, тем богаче человек. Для серьезной музыки у меня, пожалуй, ухо пока еще неподходящее. Слуху мало. А вот Ежику прямое дело на концерты ходить — слух абсолютный. Я лично живописью заинтересовался. Прослушал пару лекций, почитал кое-что, по выставкам походил. Многого, понятно, не достиг, но уже разбираюсь немножко. Рыночных лебедей у себя не повешу.

— Это жена, — смутился Дорохов, — не может расстаться.

— Я не в укор, — продолжал Виктор, — я об интересах только. Например, орхидеи мои. У нас говорят: блажь. Смеются. И зря. Сколько я книг в связи с этим прочел — один Тимирязев чего стоит. Золото! И химией подзанился маленько — надо составы для удобрений знать.

— Ну, я эти сады разводить не буду. Не по мне, — перебил Дорохов.

— И не надо. К чему влечет, тем и занимайся. Вон Федор, к примеру, марки собирает...

— Бросил уже, — смущенно признался Федя.

— Напрасно. Он хорошо марки собирал, с умом. Географию лучше всех нас знает. Помнишь «Малюку силлатан», Федор?

Подобревшие глаза Виктора, поощрив Федю, остановились на мне.

— С ним, знаете, какой случай был, Иван Андреевич. Приносит как-то треугольную марку с рыбами. Внизу подпись: «Малюка силлатан». Ни он, ни я такого государства не знаем. Посмотрели атлас в читалке: нет такого государства. Увидела нас Верочка, секретарша директора. Чем, спрашивает, интересуемся? Мы объяснили. Пойдемте, говорит, со мной, у директора в кабинете большой атлас есть. Пошли. Посмотрели алфавитный список — нет такой страны, даже названия похожего нет. А тут директор заходит: понадобилось ему что-то вечером. Федька улизнал, а я объяснил, в чем дело. Извините, говорю, только и ваш атлас не помог. Не нашли? — спрашивает. Не нашли. Он сейчас же Кольке своему позвонил — сын у него тоже марки собирает. Есть у тебя такая марка? Нет, говорит. А знаешь такую страну? И страны не знает. Тут Федька в кабинет обратно стучится. Прощения прошу, товарищ директор, только страну я, кажется, нашел. Какую? Подходящую: Молуккские острова в Индийском океане. Директор взял трубку, знакомому профессору позвонил. И что же? Прав Федька оказался, конечно.

— Ошибся маленько, — сказал польщенный Федор. — Не в Индийском, а в Тихом. Я потом по карте проверил.

— Нарисовать может карту, — сказал Виктор с той же одобрительной интонацией.

— Что нарисовать — поездить бы!

— И поездишь.



— Где уж, — вздохнул Федя, — считаешь, и то хлеб. Я теперь книги собирать буду, библиотеку составлять.

— Поставить на полку не хитро, читать кто будет? — процедил Дорохов.

Но Виктору, видимо, понравилась идея собственной библиотеки.

— А мы с него спрашивать будем, — засмеялся он. — Купил книгу — прочти. Прочел — рассказывай, И давайте вообще закрепим такой разговор. По выходным у меня или у Коли. Можем судить тогда: растем или стынем.

Виктор остановился и подождал, будут ли возражать. И мечтательно, почти робко, словно боясь, что его не поймут или поймут неправильно, добавил:

— Хорошо бы еще дневник завести... коллективный.

Света вдруг жалобно и громко вздохнула:

— Ой, и трудно с тобой работать, Виктор.

— Начнет теперь стружку снимать, — отозвался Ежик.

— А ты думаешь: коммунистический — это только прилагательное? Была бригада коммунистического труда — старались, подтягивались, росли. Теперь этажом выше поднялись — считаешь, меньше тянуться будем. Ты только вдумайся хорошенько в слова: лаборатория коммунистического труда. Тут не только новаторский труд, бери шире: поиски лучших форм такого труда, самых передовых форм. Ведь и бригады коммунистического труда бывают разные: одни работают хорошо, другие еще лучше. Понял? Вот почему лаборатория — это проверка и пропаганда лучшего и в труде, и в себе самом.

Все сидели тихо, как в театре. Ни один голос не возразил Виктору. А я думал, что никогда и нигде я ничего подобного не слышал. Даже утонченнейшие английские «хайбрау» — высоколобые никогда не рискнули бы связать совершенство в труде с личным интеллектуальным и морально-этическим совершенством. Сажин

был прав: они вырастили подлесок, он уже шумит, этот невиданный, богатырский лес.

— А где Галя? — вдруг спросил Виктор. — Она должна бы уже вернуться.

Я рассказал о целинном госте.

— Пашка? — удивился Ежик. — Сбежал, значит.

— Кажется, нет, — уточнил я. — Дела у него.

— Знаем его дела, Летун.

— Теперь у Виктора Галку отбивать будет, — вмешалась Света.

Она даже побелела от гнева.

— Еще подколлет, — прибавил Федя. Виктор молчал.

— Если он к нам на завод думает — не выйдет. Не возьмем, — сказал Дорохов.

Виктор обернулся ко мне и тихо спросил:

— Не знаете, он совсем приехал?

Я предпочел умолчать, что это «зависит от Гали».

— Я не верю, что он сбежал, — продолжал задумчиво Виктор, — нет, не верю.

— Какая разница, — отмахнулся Дорохов, — тебе-то что?

— Я бы его взял в лабораторию.

Даже я почувствовал в наступившем молчании единодушное осуждение. Дорохов только головой покачал.

— Ты с ума сошел, — чужим голосом сказала Света.

— У него светлая голова и золотые руки, — спокойно возразил Виктор. — Знаешь, как раньше о таких говорили? От бога механик.

— Это ты — от бога механик, — рассердился Дорохов. — Дурака валяешь.

— Ведь он тебя ненавидит, Виктор, — вмешалась Света.

— За что?

— Будто не знаешь.

— Не верю.

— А в клубе скандал забыл? А финку, которую у него отняли? Не будь христосиком — смешно!

Виктор сидел со странно отсутствующим видом. Казалось, он никого не видел.

Федя дипломатично посмотрел на часы.

— А как насчет столовой, товарищи? Не опоздаем?

А то еще обеды кончатся.

Ребята поднялись... От них веяло холодком,

...Я все-таки поехал еще раз взглянуть на Машенькин дом. Нам надо было проститься.

Поехал я на метро; кстати сказать, впервые за время моего московского сидения. По капризу или из упрямства, но я ни разу не заглянул туда, может быть, потому, что и в Лондоне и в Москве москвичи наперебой советовали мне прежде всего побывать в метро. Меня даже забавляла эта наивная гордость таким, в сущности, обычным для европейца средством передвижения. Но когда я сказал об этом Сажину, он расхохотался.

— Да мы вовсе не средством передвижения гордимся, а тем, что выстроили.

Я тогда не поверил ему, но, спустившись в прохладную мраморную глубину, наполненную сквозными ветрами и светом бесчисленных люстр, я понял, чем гордились хозяева новой Москвы. Для англичанина вокзал — это прежде всего вокзал, место, где садятся в поезд, и только. Он продолжает улицу — те же рекламы перед глазами, те же окурки под ногами, та же торопливая, недружелюбная суета. Вокзалы метро в Москве тоже продолжают улицу, пуритански чистую московскую улицу, но их мраморное величие говорит уже о завтрашнем дне. Они лишь частично принадлежат сегодняшней Москве и естественнее вписываются в облик Москвы будущей, в которой не останется ни одного кривого, горбатого переулочка.

Переулкa, который я искал, также не было. Последние дома лежали бесформенной грудой штукатурки и деревянного лома. Рабочие уже ушли — тишина смерти окружала черные от старости бревна.

Я присел на бульварной скамейке у полосы газона, окаймлявшей новый дом на противоположной стороне улицы. Прямая как стрела, она, казалось, уходила в бесконечность, исчезая в дымке угасающего летнего дня.

Возле меня на скамейке лежала серенькая ученическая тетрадка — ветер небрежно листал ее страницы.

Я взял тетрадь. На обложке ее прыгающими детскими буквами было записано: «Англ. яз. для памяти. Клавдия Новикова». Дальше на пяти-шести листках были выписаны столбиком идиоматические выражения, наиболее часто встречающиеся в английском языке. Тут же приводился русский текст, взятый из словаря. Два выражения в конце были подчеркнуты, и против них вместо перевода стоял большой вопросительный знак.

Мне показалось вдруг, что на меня смотрят. Я не ошибся. Тоненькая девушка в белом фартуке, только что подметавшая тротуар, глядела на меня пристально и сурово. Мне стало неловко.

— Кто-то забыл эту тетрадку, — пояснил я.

— Никто не забыл. Это я оставила.

— Вы?

— Я. А что — непохоже? — улыбнулась она и взяла у меня тетрадь.

Я посмотрел почему-то на ее руки. Она покраснела.

— Простите, это вы — Клавдия Новикова?

— Я. Что это вы спрашиваете, как в милиции? Моя тетрадка.

Мне вдруг показалось, что я ее где-то видел.

— Может быть, — ответила она равнодушно и хотела уйти.

— Постойте, — остановил я ее, — вспомнил. На автобусной остановке, в Филях. Правда?



Она мельком взглянула на меня и сказала уже добродушнее:

— Верно. Вы кого-то разыскивали. Нашли?

— Нашел, в общем, — неопределенно ответил я и подвинулся. — Садитесь. И не гневайтесь на любопытного старика.

Она присела на край скамейки, сунув тетрадку в карман.

— Вы здесь живете? — спросил я.

— Сейчас здесь. Дали комнату в общежитии. А то тащись с Филей через весь город. Я здесь дворником работаю, — пояснила она.

Признаться, я не нашел, что сказать. Она тотчас же это подметила.

— Удивлены? Профессия для девушки неподходящая? Или дворнику не подобает изучать английский язык?

Я вспомнил иконописного Никона у нас на дворе, косноязычного Егора с налитыми кровью глазами, дворника-татарина у Пикерсгилей и не смог удержаться от улыбки.

Она совсем рассердилась.

— Что ж тут смешного?

— Ничего, конечно. Но для дворника это уж не так обязательно.

— А я и не собираюсь всю жизнь мести улицы. Поступила потому, что стипендии не хватает. Шить я не умею. На завод разряд нужен. А на одну стипендию не проживешь — у меня еще тетка больная.

Какой еще сюрприз, черт возьми, преподнесет мне Москва? Ведь говорил же Сажин: не к зданиям, а к людям здесь надо присматриваться. Девушка, почти девочка, с кудряшками на висках. Девятнадцативешняя, сказал о ней Северянин. Да разве он о ней сказал? Такие ему и не снились. Дворник с метлой и бляхой на фартуке, изучающий английские идиомы! Господа туристы, включите в свои маршруты это московское чудо!

— И успеваете? — спросил я с невольным уважением.

— Трудно, — созналась она. — И помочь некому — в общезнании все девчата чужие. Вы английский знаете?

— Знаю.

— Что такое опен шоп? Буквально: открытый магазин. А по смыслу не подходит.

— Не магазин, а завод, — поправил я. — Завод, принимающий на работу неорганизованных рабочих и штрейкбрехеров.

Я повторил это по-английски.

— Какое у вас произношение, — сказала она с завистью. — Вы были в Англии?

— Жил.

— Долго?

— Сорок лет с лишним.

Она по-детски всплеснула руками.

— Ой! Целый век! Наверно, и думаете по-английски?

— Конечно. В Англии — по-английски, а здесь — по-русски.

— Все-таки сорок лет, — задумалась она. — Я бы не могла так долго... Мне бы хоть на недельку съездить. Очень трудно без практики.

— А вот давайте разговаривать по-английски, — засмеялся я.

— Не надо, я боюсь, — замялась она. — Лучше я вас как спрошу, когда трудно будет. Вы где живете?

Я объяснил.

— А не рассердитесь, если скоро приду?

Домой я не пошел. Долго-долго бродил по улицам, и Москва почему-то уже не казалась чужой. Зажглись фонари. Москва-река почернела и стала похожа на Темзу. Так же отражались в ее темном зеркале огоньки города, так же пытели пароходики, волоча за собой длинные, низко сидящие баржи. Над асфальтом набережных подымался туман. Я шел с ощущением странной легкости, словно сбросил с плеч тяжелый рюкзак. Легко жить без воспоминаний.

Ни Гали, ни Виктора не было дома, когда я вернулся. Как я заснул, не помню, но мне показалось, что сейчас же проснулся. В соседней комнате зазвенела ложка в стакане. Должно быть, Виктор пил чай. Он всегда пил чай на ночь.

И тотчас же послышался тихий шепот:

— А я и не слыхала, как ты пришел. Старик спал уже, и я легла. Где был?

— На лекции. Оттуда пешком шли.

— А я в клубе. После кино потанцевала немножко.

— Охота тебе?

— Почему? Я давно не танцевала. Музыка... свет...! Хорошо. Меня наперебой приглашали.

— Кому что. — Однобокий ты человек, Виктор. Думаешь, при коммунизме танцев не будет?

— Почему не будет? Будут. По потребностям. Есть потребность, ну и танцуй.

А у тебя нет потребности?

— Нет.

Грустный вздох Гали. Потом тишина. Потом вопрос Виктора:

— С Павлом была?

— А ты уже знаешь?

— Совсем приехал?

— Разве его поймешь.

— К нам на завод не собирается?

— Не знаю. Да его и не возьмут.

— Я возьму. К нам в лабораторию.

Молчание. Потом глухой, изменившийся голос Гали:

— Ты в уме?

— Станный вопрос. У него инструмент в руке как скрипка. Кто же не возьмет?

— Скрипка! При чем здесь инструмент? Ты нарочно.

— Не понимаю.

— Чтобы меня уколоть.  
— Ты глупая, Галка.  
— Я знаю, что говорю. Не лги.  
— Я никогда не лгу.  
— И не ревнуешь?  
— Зачем? Ты замужем.  
— И замужних отбивают.  
— А кто отбивается, туда и дорога. О чем тогда говорить?  
Опять молчание. Звенит ложка в стакане. Виктор пьет чай.  
— Ты что делаешь? — спрашивает Галя.  
— Так кое-что. План домашних занятий. По-моему, стоит языком подзаниваться.

— Чем?  
— Скажем, английским. А то приезжают на завод иностранцы, а ребята ни бе ни ме. И за границу поехать — тоже пригодится. Как думаешь, Иван Андреевич согласится группу вести?

Галя молчит, потом отвечает чужим голосом:

— Ты не человек, Виктор.  
— Опять!  
— Нет, не человек.  
— Она начинает смеяться.  
— Тише! С ума сошла.  
— Ты робот.

Смех переходит в хохот. У Гали истерика.

— Галочка, что с тобой? Галочка!  
— Отстань... У тебя души нет.

Слова Гали прерываются глухими всхлипываниями.

— Отстань, говорю.  
— Галочка!

Звенит стакан. Очевидно, Виктор дает ей пить.

— Я спать хочу. Оставь. И тишина.

В эту ночь я долго не мог заснуть.

Уж больше недели мы одни с Виктором. Галя ушла совсем.

Ушла на другой же день после нашего разговора, оставив две короткие записки.

Одна предназначалась Виктору.

«Я ухожу совсем, Витя. Иначе — не могу. Я не подходящая для тебя жена, и мне с тобой трудно. Я как низкорослое дерево, сколько его ни тяни — не вырастет. Только с корнем вырвешь. Поэтому надо кому-нибудь сказать: конец. Вот я и говорю: прощай, Витя. Не ищи со мной встреч. Не надо».

Ниже было приписано карандашом:

«Простите, Иван Андреевич, что испортила вам отпуск. Из нашего разговора вы уже все поняли — добавлять нечего. На душе так горько, что хоть вниз головой из окна. Как видите, и в нашей счастливой стране бывают у людей свои несчастья. Не судите плохо о советских людях — не у всех так. Когда будете уезжать, оставьте, адрес Витьке — может, написать захочется. Ведь кроме дяди Коли и вас, у меня родных нет».

Мы долго сидели в тот вечер друг против друга. Ни одного слова не было сказано. Виктор умел страдать молча, без жалоб, без слез, без упреков.

— Будем чай пить, Иван Андреевич? — спросил он наконец.

— Не хочется, Витя.

— Жить ведь надо.

— Надо, Витя.

— У меня к вам просьба, Иван Андреевич. Не уезжайте пока. Одному мне теперь будет очень трудно.

...Утром я послал Джейн телеграмму о том, что мое московское турне продлевается: все, мол, в порядке, не беспокойся. Ни я, ни она не любили длинных посланий. Эпистолярное искусство, достигшее совершенства в викторианские времена, в наш атомный

век грубеет и чахнет. Даже любовники в разлуке предпочитают разговор по междугородному телефону.

Я не писал Джейн о Гале, предпочитая все рассказать по приезду. Да разве письмо объяснит ей, что случилось вдруг дома у Виктора Черенцова и что вообще может случиться, если у тебя в семье начинается строительство коммунизма.

После злополучного воскресенья, когда события уже назревали, Виктор ушел на завод очень рано, и мы с Галей завтракали одни. Она была необычно молчаливой и казалась нездоровой. Веки у нее припухли и покраснели.

— Не притворяйтесь, Иван Андреевич, — сухо сказала Галя, отвечая на мой вопрос, не больна ли она. — Сами видите — плакала я. И глаза распухли.

Незачем было спрашивать, отчего она плакала: я-то ведь знал.

— Трудно мне с Виктором, — заговорила она, помолчав, — ох как трудно. Наверное, приметили?

— Приметил.

— Помните наш разговор на улице, когда я попрекнула вас, что уехали. Я сказала тогда: уйти от любимого человека можно, если ты ему в тягость. Только тогда. Кажется, это у нас с Виктором наступило. Я это чувствую.

Я, старшийся до сих пор сохранять во всем позу бесстрастного наблюдателя, вдруг испугался. А что, если это серьезно?

— В тебе говорит обида, Галя.

— На что?

Я вспоминаю ночной разговор. Что-то действительно было. Но что?

— Может быть, Павел...

— Что вы, Иван Андреевич! Виктор даже и не ревнует. Ни любви нет у него, ни ревности... Говорят, на Брюссельской выставке машину показывали. Думает как человек, отвечает на вопросы



как человек. Только не смеется и не плачет, не жалуется и не сердится. Так и Виктор.

Я взглянул на орхидеи в окне. Миниатюрная дождевальная установка включилась, и веселый круговорот водяных струй побежал по широким листьям и мхам.

Удивительно изящно, смело и остроумно было все это придумано.

— Все-таки ты не права, Галенька.

— Не знаю. Я жить хочу, как все люди живут. В кино пойти, в клуб. Я танцы люблю... Девчонок иногда позвать хочется, попеть. А у него одно: учись. Мало ему, что я медсестра неплохая, — на врача учись. Сам предлагает в университет подготовить. Думаете, не подготовит? Подготовит, как на курсах. А какой из меня врач?

Она произнесла это с таким внутренним убеждением, что, если бы не серьезность минуты, я бы расхохотался. Славная, глупая девочка.

— Если у вас так легко поступить в университет, зачем же отказываться?

— Если бы легко! А потом сколько муки претерпеть — не считаете? Ведь я не старуха. Инженер Снегирев мне стихи писал, Пашка из-за меня смерть примет — так любит. А Виктор, знаете, о чем думает — о любви? — синие глаза ее недобро вспыхнули, — английскому языку нас учить — вот о чем. Чтоб вашим туристам удобно было. А по мне, пусть русский учат, если к нам ездят.

— Виктор, наверное, надеется, что скорее выучит английский, чем наши туристы — русский. И, кстати говоря, он прав, — сказал я. — Ты просто не понимаешь его.

— А вы понимаете? — это было сказано с накипающим раздражением.

Я попытался объяснить.

— Он — фанатик, Галя. Одержимый одной идеей, которой подчинил всю свою жизнь. Великая страсть владеет им: создать

общество духовно совершенных людей, достойных тех социальных форм, какие ему рисуются в будущем. Он называет это борьбой за коммунистического человека. Пусть так — неважно. Но разве это не благородная, не красивая страсть? И разве он не достоин подруги, которая бы шла вместе с ним, верила ему, училась у него...

Ах, Джейн! Что стало с твоим сумасбродным дедом?

Никогда он не произносил таких речей, да еще с такой неприличной запальчивостью!

Но до сердца Гали моя речь не дошла.

— Видно, и вас он сагитировал, Иван Андреевич, — сказала она с горечью и поднялась из-за стола. Это был последний мой разговор с Галей.

Еще несколько дней.

Как будто мало что изменилось. Мы с Виктором по-прежнему обедаем на фабрике-кухне, завтракаем и ужинаем дома. По утрам я езжу в Парк культуры у Крымского моста, по вечерам хожу в кино. Старую Москву больше не вспоминаю.

Порой мне кажется странным, что я когда-то жил на Чейн-уок и читал «Дейли экспресс» по утрам. Теперь я читаю «Правду». В доме меня все уже считают своим, а сосед Иван Егорыч при встрече удостаивает даже разговора.

— Эй, тезка! Читал?

— Что именно? — интересуюсь я.

— Что-что... О пленуме речь.

С помощью Виктора я теперь уже легко лавирую между «съездами», «пленумами», «бюро» и «секретариатами». Я уже знаю, что значит «всыпать на бюро», «снять стружку», «выложить билет на стол». Но Ивану Егорычу можно не отвечать, его достаточно слушать.

— Разворачиваем автоматику. Великое дело.

Я соглашаюсь.

— Через год в цеху больше десяти человек не останется. Все автоматы.

Его раздувает от гордости, а я думаю, как эта же перспектива заставила бы английского рабочего почернеть от страха. Но я не рядовой английский турист — мне удивляться не полагается. К тому же я проник уже в тайны социалистической рационализации и знаю, что ни самому Ивану Егорычу, ни его товарищам агрессия автоматике ничем не грозит. В худшем случае их переведут на другую работу.

И, как всегда, на прощанье он приглашает меня перекинуться в домино.

— Забьем козла, сосед. Заходи.

Но меня тянет к Виктору. Вчера он купил новенькие телевизор и тотчас же разобрал его до последнего винтика. А сейчас снова собирает, напевая вполголоса. Голос у него приятного низкого тембра, и я удивляюсь, почему он никогда не пел раньше. Ведь Гале так хотелось «попеть».

Виктор не слышит меня, он поет:

Ты меня не ждешь давно-давно,  
Нет к тебе путей-дорог...  
Счастье у людей всегда одно,  
Только я его не уберег.

И такая щемящая грусть в словах его, что я застываю в дверях, стараясь даже не дышать. Я-то ведь знаю, как потом стыдится он таких минут.

Но он услышал, обернулся. И тут же замолчал.

Я подсаживаюсь к нему и молча слежу за его работой.

Молчать мы можем часами. Но выдержки у него всегда больше.

— А что вы, собственно, делаете сейчас на заводе, Витя? — завожу я разговор, осторожно выводя его из «молчанки».

Но Виктор упрямится.

— Сейчас? — отвечает он нехотя. — Совершенствуем зажимные устройства, внедряем пневматические приводы к станкам.

— Я не совсем понимаю, Витя.

Он оживляется, в нем просыпается популяризатор.

— Ну как вам объяснить? Что такое токарный станок, представляете? Прежде чем пустить в ход резец, надо установить и закрепить стальную болванку. Делается это вручную, винты затягиваются с помощью рычагов и ключей. Снимают готовую деталь тоже вручную. Десятки раз в смену, тьма времени. Ну а пневматическое устройство позволяет мгновенно заклинить деталь в патроне. Нажал кнопку, и сжатый воздух все сделает без рычагов и ключей.

Виктор увлекается, и рассказ о зажимных устройствах превращается в лекцию об автоматике. Через полчаса я знаю об этом несравненно больше любого корреспондента английской газеты, набившего руку на «московских сенсациях».

Я все больше люблю его, этого человека, к которому нельзя подойти со старыми душевными мерками. Не холодноватое английское «нравится», а именно русское, славянское «люблю», сплав привязанности и восхищения. Меня восхищает и сдержанность его чувств, благородная мужская сдержанность, которая чем-то сродни подлинной чистоте души, и даже его душевная неприступность, которую он носит как панцирь против человеческого сожаления и любопытства. Это не отчужденность от людей, нет — он готов говорить взволнованно и горячо обо всем, что его интересует, но есть одна заповедная тема, которая замыкает наши уста. Это понимаю не только я, но и его близкие друзья, которые иногда навещают его.

Вчера к нам забежали Светлана и Федя.

— А Виктора нет, — объявил я, впуская их, — и когда он придет, не знаю.

— Мы к вам, Иван Андреевич, — тихо сказал Федя и заговорщически оглянулся вокруг, точно нас мог подслушать кто-нибудь в пустой квартире. Он Павла видел, — пояснила Света.

— Сидел у окна автобуса, увидел меня и отвернулся. На Фили ехал.

— Никуда они не уехали, — присовокупила Света.

— Вы думаете, что Галя в Москве? — спросил я.

— Непременно. Пашка нахрапом действует. С налета. А если не по его, сразу скисает. А Федька говорит: он кислый ехал.

— Значит... — задумался я.

— Значит, сразу не увез — так не увезет. Не поехала она с ним. Вот мы и решили: Галку разыскать и взять в работу.

Я усомнился. Взять в работу... Точно деталь на станке. Да и выйдет ли?

— А с Виктором говорили?

— Как же, поговоришь с ним.

— Каменный.

— Тогда нельзя, — решил я. — Неудобно. Все-таки его дело, частное.

— Старый вы человек, Иван Андреевич, — назидательно заметил Федя, — и понятия у вас старые. Не частное дело, а наше, общее. Государственное дело. Душа у него болит, делу мешает. А мы что же — молчи?

— Найти и поговорить с ней по-комсомольски. Против коллектива не пройдет, — не утерпела Света.

Я опять усомнился.

— Не всегда коллектив вправе вмешиваться в личную жизнь человека.

— Всегда, — безапелляционно сказал Федя.

Так мы и не договорились. Они ушли, заставив меня задуматься над проблемами коллектива и личности. Неужели сверстникам Сажина удалось воспитать поколение, совсем не тронутое ржав-

чиной индивидуализма? Тогда это одно удивительнее всех индустриальных побед!

Когда пришел Виктор, я наконец решился. Заповедная тема перестала быть заповедной.

— Почему вы никогда не спросите меня о моем разговоре с Галей?

Виктор отвечает с обычным спокойствием.

— Потому что представляю его содержание. Опять Павел?

— Дальнорюкие обычно не видят у себя под носом. Речь шла не о Павле, а о вас.

— Обо мне?

— Вы шагаете вперед в семимильных сапогах, другие же следуют за вами в обыкновенных ботинках, далее в тапочках. А вы не видите этого.

— Аллегория! И не очень понятная.

— Возьмем другую. Вы — тренированный альпинист, дышите свободно на любой высоте. А люди, связанные с вами одним ремнем, теряют дыхание. Что надо сделать?

Виктор саркастически усмехается:

— Очевидно, ослабить ремень.

— Или шаг, — не сдаюсь я, — надо быть понятливее, терпимее, Витя, душевнее, если хотите, к человеческим слабостям. Люди не одинаковы.

— А чего я от них требую? Учись, читай, расти. Невозможно это? Чушь! Ежик вон на футбол бежит, а я ему книжку сую. Ну что же, после футбола прочти. Недоспи, а прочти. Только осознай, что так надо, что нельзя без этого, тогда и простить можно, если сил не хватит.

Трудно спорить с Виктором, но я все-таки пытаюсь.

— Вы стремитесь к духовному совершенству, Витя. Но духовное совершенство, как и физическое, невозможно для всех.



— Чепуха! — сердится Виктор. — Безногий не пробежит стометровку, но любой нормальный, здоровый человек пробежит. И раз от разу может улучшать время. Это — моя аллегория. Понятно? Если я хочу стать лучше, почему другой не может хотеть этого? Только захоти, воспитай в себе это «хочу». Вот этого я и требую.

Спор можно продолжать, но я уже выдыхаюсь. Виктор в чем-то убедил меня, но мне кажется, что и сам в чем-то поколеблен.

Мы не успеваем уточнить этого — раздается звонок.

Пришла Клавдия Новикова.

Виктор несколько удивленно подвел ее ко мне, но удивиться по-настоящему пришлось мне, а не им, потому что Клавдия, рассмотрев Виктора, освещенного настольной лампой — в комнате было темно, — вдруг воскликнула:

— Черенцов! Витя!

Виктор смущенно протянул руку:

— Здравствуй, Клава.

— Странно, — заметил я обиженно, — все друг друга знают, а я кручусь среди вас, как щепка в омуте.

— Да мы с детства знакомы, — сказала Клава, — на одном дворе жили. Витя, я и Павлик. Ты знаешь, он здесь сейчас.

— Слыхал, — неопределенно отозвался Виктор.

— Вы разве не встречаетесь?

— Нет.

Несколько смутившись сухостью Виктора, Клава перешла к делу, которое привело ее ко мне. Ей нужно было перевести небольшой кусочек английского текста.

Текст оказался технический, и я сразу же спасовал. Пришлось привлечь Виктора, который, к моему удивлению, довольно сносно умел читать.

— В школе занимался, да забыл потом, — признался он, — сейчас только алфавит и помню.

Но помнил он много больше, а самое главное, отлично знал техническую терминологию. И пока я неуверенно подбирал по смыслу русские слова, он, подумав, сразу называл нужное. Клавдия у же не на меня, а на него глядела с почтительным уважением.

Мне пришла в голову одна идея.

— Вы ищете учителя, Виктор. Группу хотите создать. Искать, по-моему, незачем. Вот вам и педагог.

Виктор не признавал ложной вежливости.

— А ты справишься? — с сомнением спросил он. — Молода очень.

— Не знаю, — смущенно пробормотала Клава и потупилась.

Я тут же пришел ей на помощь.

— Неправда, Клава. Знаете. Педагогический огонек у вас должен быть, раз в педагоги идете. Интерес к делу есть, и знаний, по-моему, достаточно. Ну, а опыт дело наживное.

— Попробуем, — согласился Виктор, — начнешь со мной, а там и с группой решим.

Однако я скоро пожалел о своей инициативе. Клава приходила каждый день и, возвращаясь домой, подсаживалась ко мне на скамеечку — обычно во время уроков я спускался вниз посидеть на деревянном диванчике, поставленном у подъезда лифтером. Здесь она и успевала за несколько минут надоесть мне иступленным нахваливанием Виктора.

— Какой потрясающе способный человек (это я уже знал), и какая у него память (и это я знал), мы проходим сейчас по три главы зараз (и это знание меня не обогатило).

Если б только она ограничивалась уроками!

— Почему от него жена ушла, вы не скажете?

Я молча вздыхал, деликатно намекая на нежелательность темы.

— Слепая! От такого человека уйти!

Я скрежетал зубами и молчал.

После третьего или четвертого урока она, как обычно, выбежала из подъезда и, присев рядом со мной, радостно выпалила:

— А сегодня он не такой задумчивый. Даже смеялся.

По-моему, он ее забывает.

Я не выдержал.

— Вы уже успели влюбиться?

Она простодушно не заметила сарказма.

— Я еще девчонкой была в него влюблена. А сейчас это совсем простительно.

— Нет, Клава, не простительно, — я уже не щадил ее. — Вы не знаете правды. Он страдает и мучается и будет страдать и мучиться до тех пор, пока не вернется Галя. Он — однолюб и никогда не полюбит другую. Ни за что.

— Сказки, — откликнулась она, но уже далеко не уверенно.

Тогда я нанес последний удар.

— И Галя его любит и в конце концов вернется, я уверен, — я произнес это почти вдохновенно, — не создавайте себе иллюзий, девочка.

Она вдруг погасла и согнулась, как сторевавшая спичка. Только надежда, до конца не оставляющая человека, слабо тлела в глазах.

— А почему же... почему она ушла? — тихо спросила Клава.

Я рассказал ей историю Гали и Виктора так, как знал ее сам. Теперь погасла и надежда.

— А кто этот... с целины?

— Вы его знаете. Это — Павлик, о котором вы говорили. Парень, позвавший вас тогда на автобусной остановке, помните?

Она отшатнулась почти с ужасом.

— Хорьков?! Павел! Не может быть...

Она закрыла лицо руками и медленно поднялась со скамейки.

— Теперь я все понимаю.

Кончики пальцев ее на лбу побелели от напряжения. Она отняла их, в широко раскрытых глазах ее светилась странная решимость.

— Все будет хорошо, Иван Андреевич. Только не говорите Виктору.

— О чем, Клава?

— О нашем разговоре. Слышите? Я все сделаю.

И побежала к воротам.

— Клава! — закричал я ей. — Погодите!

Она даже не обернулась.

На следующий день Виктор работал в вечерней смене. Было жарко и душно, особенно к вечеру. Долго не потухающее небо от жара и пыли, стоявшей высоко над Москвой, казалось сиреневым. Даже не утихавший никогда сквознячок из ворот не приносил прохлады.

Я сидел на своей скамеечке у подъезда и смотрел, как дети играли в классы. Древняя игра, известная, должно быть, с сотворения мира.

— Здорово, дедок, — услышал я знакомый голос.

И человек был знакомый, в той же выпцветшей ковбойке с воротничком, почерневшим от пота. Целинный загар его поблек под московским небом. И весь он как-то поблек, только воспаленные глаза горели как угли на осунувшемся лице. Казалось, он не спал, может быть,пил всю ночь и весь день до этой минуты. От него пахло спиртом.

Я инстинктивно отодвинулся.

— Не пьян я, дедок, не бойся. Галка дома?

— Нет, — удивился я.

— Значит, не пришла еще! Придет. Проиграл Павел Хорьков, еще раз проиграл свое счастье. Ну что ж, заплатим проигрыш, как положено.

Он присел на кончик скамьи, руки бессильно упали на колени.

— Я ее у знакомой бабочки поселил, когда она от Витьки ушла. Думал, со мной уйдет... замуж пойдет. Не вышло.

— Не обещала? — спросил я.

— Нет. Разговору у нас об этом не было. Так и сказала: «Ты мне душу не тревожь, Павел, а то последний раз меня видишь». Только комнату и приняла. Хорошая, между прочим, комната. Сирень на дворе. А она даже не улыбнется. Задумчивая такая, строгая. Я как цуцик за ней ходил, стихи ей читал...

Я буду краток, жить недолго мне:

Мой срок короче горького рассказа, —

продекламировал он и, задышавшись, продолжал: — Я много стихов знаю — в драматическом кружке выучил. «Почитай мне, Павлик», — скажет. А о жизни ни слова. Я уже тогда понял, что все проиграно, что зря она от Витьки ушла.

Он говорил тихо и монотонно, как в бреду.

— А тут еще эта Клашка пришла к квартирной хозяйке — тет-ка она ей. Я недосмотрел, не было меня. А то эту мышшь... — он сжал кулак так, что пальцы хрустнули. — Уж не знаю, что она Галке наговорила... догадываюсь, конечно. Только Галка после этого собрала вещи и ушла. Все равно бы ушла, я уж знаю, только все-таки непереносно. Любит она Витьку...

— Любит?

— А то нет? Иначе удержалась бы, думаешь? Никогда. Я как из Шекспира прочту:

Любовь на крыльях понесла меня,

Ведь для любви и камень не преграда... —

разве кто удержится? — ондохнул мне в лицо винным перегаром, только глаза были трезвые, ясные, до жути горящие глаза. — А она нет! Как отрезала. Тут и решил было: кончу Витьку. Ране не довел, теперь доведу. Только ведь кровью не умоешься и счастья не вернешь. Не бывает на крови счастья...

Он поднялся твердо и уверенно, будто и не пил вовсе.

— Прощай, дедок. Видно, не дожидаться мне Галки. Да и ждать, пожалуй, не стоит. В степь поеду. Легче дышится там, в степи... Дома не мешают. А Галке скажи, — прибавил он и замялся. — Нет, не надо. Не говори ничего. Пусть...

И, не договорив, медленно побрел по двору — побитый, не страшный, споткнувшийся человек.

И тоже не оглянулся.

...А Галя пришла совсем поздно, после того как вернулся Виктор и я уже поджарил котлеты к ужину.

Она вошла как лунатик с протянутыми руками, ничего не видя, кроме Виктора, стоявшего у окна.

— Витя!

— Люба моя!

— Я измучилась, Витька. Не могла больше.

— И я.

Я тихо затворил за собой дверь.

А минуту спустя Галя ворвалась ко мне, и я ощутил сразу все: и силу едва не задушивших меня объятий, и теплоту ее слез, высыхавших у меня на щеках.

— Иван Андреевич! Спасибо вам...

— За что, Галенька?

— За Витьку, за меня, за то, что образумили дуру березовую.

— Я ничего не знаю, Галенька.

— Не выдумывайте. Все вы знаете. Все понимаете. Умница вы моя.

Она говорила, а Виктор стоял в дверях и улыбался, очень смешной и помолодевший.

А ночью за дверью снова знакомый шепот, без которого так долги были мои стариковские ночи.

— Я выброшу оранжерею!

— Не смей, Витька.

— И будем три раза в неделю ходить в клуб. Я уже решил.

— Милый.

— И на танцы.

— А лекции?

— Хватит времени и на лекции.

— Не дури, Витька. Пусть все остается по-прежнему. Я дурой была.

— Неправда.

— Нет, правда. Ну, может, один вечерок выкроишь.

— Сто. А по выходным будем за город ездить. Хорошо?

— Не знаю. Я заниматься буду. Поможешь?

— Неужели нет?

— А сколько я тебе писем написала! Напишу и порву... напишу и порву...

— А я тебе стихи написал. Думаешь, только Снегирев может?

— Покажи.

— Дурочка, ведь ночь.

— Все равно...

Нет повести прекраснее на свете...

## 5

Наконец я уезжаю.

Самолет на Лондон вылетает днем. Виктор и Галя поэтому приедут во Внуково прямо с работы. На аэродром меня везет Сажин.



Он сам ведет машину и очень торопится — ему еще надо успеть на заседание какой-то архитектурной комиссии, — мало разговаривает, предоставляя мне молча проститься с Москвой.

А что можно увидеть в московский июльский полдень сквозь ветровое стекло быстро мчащегося автомобиля? До блеска выбеленную солнцем перспективу будто вымеренных линейкой проспектов, автомобильные перекрестки, белые кители милиционеров, суетолюку у

витрин — живой, по-летнему расцвеченный орнамент города.

Щемит сердце, как при расставании с новым, полюбившимся другом — я подчеркиваю новым, — ведь мой Китеж-град давно потонул в прошлом до кончиков своих золотых маковок. И я уже не считаю на улицах особняки и церкви — на моем пути их больше нет.

Зато я считаю строящиеся дома.

Их срезанные на разной высоте этажи, кажется, кричат в небо: мы растем, растем, завтра будем еще выше. Ажурные стрелы строительных кранов подхватывают бетонные плиты, то взлетают над этажами и застывают в воздухе, прежде чем стать стеной или перекрытием. Белая пыль бьет в глаза.

И долго-долго потом при воспоминании о Москве будет вставать в памяти эта картина — белые срезы домов, взлет бетонной плиты и стальная рука великана из сказки о современном городе.

— Проняло? — смеется Сажин, перехватывая мой взгляд. — То-то вижу я, что вы все на стройки смотрите. Даже пыль его не берет — не морщится.

Он прибавил скорость — мы выехали за черту города.

— К концу семилетки опять приедете — не то увидите. Эту вот шоссечку не узнаете: такой проспект вытянется — ахнете. На Кутузовке похудеют от зависти. Вы знаете, что сейчас в Москве наблюдается — нигде в мире этого не увидите — тяга из центра к окраинам. С Кузнецкого моста в Черемушки переселяются — да

еще просят: скорее! В вашей Москве небось с Молчановки в Дорогомилово не переезжали. А если приходилось, так, значит, со службы выгнали, платить за квартиру нечем... Нет, в самом деле, — загорается он, — приезжайте-ка лет через пяток...

— Нет, — говорю я, — пяток лет это много. Не вытерплю.

— Bravo, Иван Андреевич! Вот это по-честному. Верю! — кричит Сажин навстречу ветру. — В Риме монетки в фонтан бросают: говорят, кто оставит монету, обязательно вернется. А вот в Москве не монеты оставляют, а сердце. Признавайтесь, оставили?

Я оставил свое сердце в Москве еще полвека назад. Но моей Москвы уже нет. Да и Сажин говорит не о ней.

— А кому вы этим обязаны? Им. Галке и Виктору. Говорил ведь вам: не к зданиям присматривайтесь, а к людям.

Я присмотрелся и полюбил. И Галку, и Виктора, и Клаву Новикову, и даже Тоню Барышеву, с которой очень хотелось бы встретиться и поговорить о любви в коммунистическом обществе. Теперь я в этом не такой уж профан.

И друзей Виктора мне тоже, пожалуй, будет не хватать в Лондоне. Как-то грустно представить себе, что за дверью в соседней комнате я уже не услышу знакомых споров о том, как лучше работать и жить. И хотя на Чейн-уок негде посидеть на скамеечке и никто не наблюдает, как угасает в сумерках душный июльский день, я бы искренне обрадовался, если б услышал за собой дружески-насмешливое:

— Здорово, дедок. Скучаешь?

Должно быть, Сажин лучше меня разбирается в людях, если он предвидел подобный конец. Ему очень хочется, чтобы я признался в этом, но я молчу. Тогда он предпринимает обходный маневр.

— А что вы у них увидели — я говорю о Галке с Виктором? Шаблонную бытовщину, какую даже на Мадагаскаре найдете. Взбалмошная бабенка закапризничала и сбежала от мужа. А потом вернулась как ни в чем не бывало. Подумаешь, событиеце!

Я попадаюсь на удочку.

— На Мадагаскаре я не был, — отвечаю я запальчиво, — но за полвека в Англии я вдосталь наглядился такой бытовщинки. Много раз уходили взбалмошные бабенки и порой возвращались как ни в чем не бывало. Но почему уходили и почему возвращались? Я не знаю ни одного семейного конфликта, который вырастал бы из стремления к духовному совершенству, я не слыхал ни одной ссоры, которая поднималась бы до такого этического уровня. Когда я расскажу об этом в Лондоне, меня не поймут или мне не поверят, как не поверил бы я сам раньше. Вы шутите, конечно, но это «сбытыще» убеждает больше, чем все краны и этажи.

Сажин искренне хохочет.

— Интересно, кто кого агитирует — я вас или вы меня?

— Вот и Виктор спрашивает: не состою ли я тайно в английской компартии? Нет, Николай Федорович, не состою. Многое мне у вас чуждо, многое непонятно, но духовный ваш подвиг я вижу. Вы вырастили нового человека, который лучше нас. Я бы и заповедь сейчас переделал: блаженни лучшие, яко тии наследят землю.

Клава Новикова настигла меня в буфете. Солнечный свет, струившийся из окна, будто проходил сквозь нее — такой хрупкой и прозрачной показалась она мне при встрече.

— Здравствуйте, пропавшее чудо, — сказал я по-английски.

Она смутилась, как школьница, не выучившая урока.

— Не надо... не дразните. Вы же знаете... я боюсь.

Я поймал ее взгляд, удивленно скользнувший по костюму, в котором я приехал из Англии. Не знаю, почему я надел его. Пуританская чернота его была почти неуместна в этот ослепительный летний день.

— Вот теперь вы похожи на англичанина... Чуть- чуть.

— Только зонтика не хватает, — пошутил я

Она даже не улыбнулась. Только сказала, помолчав:

— Странно все это. Как в кино. Точно это не мы с вами, Иван Андреевич, а совсем, совсем другие... И не жизнь это, а картина из чьей-то жизни... Правда?

— Где вы пропадали, Клава?

— Я звонила вам. Мне сказали, что вы улетаете. Пришла проститься.

— Спасибо, девочка. Вы обязательно напишите мне. Хорошо? Адрес у Виктора.

— Я не пойду к нему.

— А уроки?

— Я не буду давать уроки.

— Что случилось, Клава? Ведь что-то произошло, да?

— Где?

— На Филях. У Гали. Мне Павел сказал, что вы были у нее.

— Была. Я сначала не знала, что это — Галя. Павел ее у тетки поселил, сказал, что есть у него девушка, на целину с ним едет, замуж идет. А потом встретился пьяный, плакал, что не любит она его. Когда вы рассказали мне, я поняла. Нельзя ей было к Павлу уходить. Я знала, что сказать ей и о Викторе и о Павле.

— О Павле? — удивился я.

— Кого-кого, а его-то я хорошо знаю. Дружили когда-то... И вообще...

— Любили его?

— Не все ли равно теперь? Вы знаете, кого я люблю.

Я поцеловал ее в лоб. Он был как ледышка.

— Все пройдет, девочка. Все забудется.

— Может быть, — она смахнула слезу. — Только ему не говорите. Он ведь счастлив сейчас...

Галю и Виктора я нашел уже, когда объявили посадку. В первый момент мы с Галей не могли найти слов — очень трудно в такие минуты найти именно те слова, какие хочет сказать сердце.

Но Галя нашла их.

— Деда милый, — обняла она меня, — деда Ваня, не уезжай.

Мне показалось, что она в белом переднике школьницы с голубым бантиком на косичке. Внученька моя!

— Я скоро опять приеду, Галенька.

— Приезжай.

— А может быть, ты приедешь?

— Не знаю. С ней приезжай.

— Хорошо.

Я еще не знаю, как ее называть по-русски. По-чужому не хочется. И пусть русский учит.

— А ты — английский, — вмешивается Виктор. — Вы в самом деле скоро приедете, Иван Андреевич?

— Когда-то мы говорили о романе Уэллса, Витя. Что бы сделал Кэвор, если бы ему удалось вернуться на землю?

— Снова полетел бы.

— Вот именно.

Я продолжаю разговор с ним уже в воздухе. Уже давно исчезли из вида крохотные фигурки провожающих на перроне аэровокзала, да и сам аэровокзал закрыла проплывшая под нами бесформенная гряда облаков. А я все говорю, говорю...

— Это — судьба, Витя. Темная, непознаваемая сила.

— Чепуха.

— Когда я приехал...

— А зачем, собственно, вы ехали?

— Искал свой Китеж-град.

— А нашли город солнца. Был такой мечтатель в давние времена.

— Знаю, Витя. Кампанелла.

— Именно. Мечтал о таком городе. А мы построили его.

— Как много вы знаете, Витя.

— Что вы, Иван Андреевич! Сколько еще узнать надо. О химии полимеров, об атомной физике, о кибернетике...

— Слишком много для одного человека.

— А Горький? Сколько знал Горький?

— Вот вы смеетесь надо мной, когда я говорю: судьба, чудо. А разве не чудо, что мы продолжаем разговор, когда вы, наверное, уже пересеживаетесь с автобуса на метро?

— Хитрите, Иван Андреевич. Это вы сами себе повторяете то, что я вам уже говорил...

Удивительный человек этот Виктор.

А самолет уже высоко в воздухе, откуда Москва кажется горсточкой камешков, прихотливо рассыпанных по траве. Какое счастье, что нет облаков и я ее еще вижу.

На душе — ни тревоги, ни горечи. Все хорошо. Я твердо знаю, что вернусь сюда.

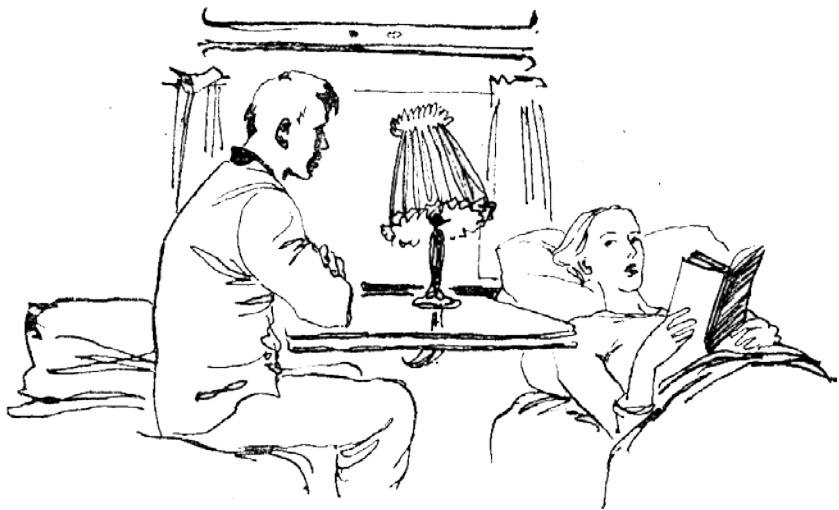
Стрелка альтиметра уже переходит за три тысячи метров. Самолет набирает высоту.

Пусть так — мое сердце с тобой, Москва.

До скорой встречи!



КОГДА СКОРЫЙ ОПАЗДЫВАЕТ



1

Все, кроме меня, в купе уже спят. Я говорю «уже», хотя за окном все еще утро. Солнце даже не поднялось над лесом и только скупо подсвечивает откуда-то сзади высокие верхушки пихт. Лес здесь темно-бурый и неприветливый — ель да пихта. Даже травы не видать — одни мшаники да ржавчина прошлогодних опавших иголок, плотно слежавшихся под недавно ставшим снегом. И не надейся, что картина изменится, — это долго.

— Ну а что делать? — драматически провозгласил Жеребцов, укладываясь спать на постеленном вместо тощего казенного тюфячка синем прорезиненном плаще. — Принято по две-сти — отлично. А дальше? За окном муть — через час запсихуешь. Да и спина скучает. Словом, кто куда, а я до храповицкого.



— И я посплю, — сказала Тамара.

Сейчас они оба крепко спят друг против друга на верхних полках. Тамара — по-детски беззвучно, уткнувшись носом в подушку; Жеребцов, ровно всхрапывая, неподвижный, как бревно, без тревог и сновидений.

Я смотрю на Женю — кажется, тоже спит. Глаза закрыты, руки на животе придерживают взятую у меня книгу. На худеньком лице смешно смотрит вверх чуть- чуть вздернутый носик, от него по сторонам застенчиво разбежались веснушки. Милое девичье лицо, каких тысячи и вся прелесть которых всегда в какой-нибудь частности — в улыбке, в непокорной прядке волос на лбу, в манере морщить нос и хмурить брови. У Жени привлекают глаза — большие и темные, с глубоко затаенной тревожной мыслью. Они всегда о чем-то спрашивают, кого-то зовут, что-то требуют. «Тебе бы судьей быть, — сказал ей Жеребцов. — Другая девка посмотрит, что рублем одарит, а ты взглянешь — каяться хочется».

Только я вспоминаю об этом, она просыпается. Ресницы вздрогнули, поднялись, и я встречаю строгий, ясный, совсем не сонный взгляд.

— Я знала, что вы на меня смотрите. Я всегда просыпаюсь, когда на меня смотрят, — говорит она без улыбки.

— Простите.

— Не за что. Не люблю спать в дороге. Всегда кажется, что-то теряешь. Неуслышанные слова, неуиденные лица. Какая-то частица жизни проскользнет мимо и уйдет. А ты спишь как сурок. Нет уж, лучше почитаю. Смотрите, сколько прочла.

Она с гордостью отделяет пальцами добрую половину книги. Это переводной роман, кажется, о французских журналистах.

— Нравится?

— Не знаю. Чужое все это, — она комично морщит лоб, мысленно пытаясь найти определение непонятной ей жизни. — Нехорошо они живут. Только для себя. Без цели, без подвига.

— А разве всякий способен на подвиг?

— Всякий, — говорит она убежденно. — Надо только хотеть. Интересно, что она считает подвигом?

— Как вам сказать, — задумывается она, — может, мы о разном. У нас в пионерлагере, когда я еще в школе училась, вожатый из омота девочку вытащил. А сам утонул. Это подвиг, конечно. Только я не о том. Вот Варвара Михайловна — это доктор наш, — поясняет Женя, — одна на весь поселок. Одиношенька. Хирург наш старенький от инфаркта помер, а я в больнице только с прошлого года. А знаете, какие у нас морозы? Да снег... без лыж и не думай. А весной и осенью грязь по колено. Летом — гнус. Ну а Варвара Михайловна и зимой, и летом, и в дождь, и в грязь, и во всякое время — хоть ночью, хоть под утро — по вызовам. А ведь у нас и такие есть, которые на стройучастках — километров за десять от больницы. Скажете — не подвиг? Только она смеется, когда об этом говорят.

Женя замолкает, а я жду тоже молча, прислушиваясь к бормотанию колес на стыках: «За-пи-ши... за-пи-ши...» Мне и самому хочется записать все, что говорит Женя, но я знаю, что этого делать нельзя — спугнешь.

— Может, я и преувеличиваю, — вспоминает она в раздумье, — может, проще все это в жизни. Честный человек... честно живет — вот и все. А я на трибуну лезу. Мне и то говорят: «Брось, Женька, не поучай. Надоело». А я не поучаю, я только вслух думаю. О том, как жить. Мне жить — не вам.

Наш редактор Фомич так напутствовал меня перед отъездом: «Резвитесь, Снегирев, по всей трассе. Крупные объекты не обязательны, а медвежьих углов не пугайтесь. Но повсюду ищите человека. Того самого... чтоб звучал гордо».

Я возвращаюсь с тремя исписанными блокнотами и объемистой клеенчатой тетрадью. Шесть находок.

Женя Зайцева — седьмая.

Я познакомился с ней в камере хранения на вокзале за час до посадки. В полуподвальном помещении было темно и сыро. Рассвет еще не наступил, а огонек одинокой электролампочки с трудом пробивался сквозь слой пыли и копоти, заменявший отсутствовавший колпак. Помятые лица всю ночь не спавших людей не соблазнили на разговор. Кладовщик молча выбрасывал чемоданы и ящики на окованный цинком прилавок. Скрипела дверь.

На асфальтовом полу у стенки напротив сидел мешавший всем верзила с плотничьим ящиком, из которого торчали топорщце и деревянная ручка большой двуручной пилы. Его дремучая борода, густо черневшая на грязном ватнике, на щеках завивалась колечками, придававшими лицу что-то цыганское. Молодые глаза поглядывали кругом лениво и неодобрительно. Казалось, сбрей он бороду — и встанет рослый, по-своему величавый мужик, которому до старости жить да жить. Но бородач, вероятно, девчонкам в очереди казался дедом. И трудно было судить, кем доводилась ему лежавшая рядом женщина с мертвенно желтым, как у восковых муляжей, лицом. Бородач не заговаривал с ней, только посматривал временами тревожно и вздыхал, не отрываясь от единственно интересовавшего его в эту минуту занятия. Он ел воблу.

Одним и тем же движением он вынимал ее из мешка, разбивал о кирпичный свой сапог и чистил. Сухая чешуя плотным веем расплзалась вокруг по асфальту.

— Сказали бы ему, — не выдержала стоявшая впереди меня женщина, — смотреть противно.

— Ты бы, дядя, поаккуратней, — откликнулся паренек в драповой курточке.

Бородач даже не повернул головы. Он равнодушно жевал воблу.

— Тебе говорят, эй!

— А?

— Дошло, — засмеялся парень. — Помойку развел, чирва-козырь.

— Каку?

— Таку, — передразнил парень. — Не видишь?

— Суета, — флегматично сказал бородач и сплюнул.

— А убирать кто будет — экскаватор?

— Что грязь, что чись — все от бога. Кого он сподобит, тот и уберет.

Парень в драповой курточке даже оторопел.

— Кто же это, товарищи, поп?

— Хуже, — Заметил кладовщик. — Трясун, должно быть, либо субботник. Секта такая.

Паренек тихо свистнул.

— К нам бы его на стройку. Глянь, и подбрили бы.

— Шелудивого брить — лучше опалить, — сказал кладовщик, — шляются тут по деревням, народ смущают. Шабашники.

Из очереди молча вышла девушка в черном пальто и скрылась за дверью. Никто не обратил на нее внимания. Через две минуты она вернулась с метлой и так же молча, не суетясь, старательно подмела вокруг бородастого плотника. Теперь все смотрели на нее с нескрываемым любопытством. Девушка аккуратно поставила метлу у прилавка и подвинула к сидящему у стены урну, кем-то заткнутую в угол.

— Вот меня бог и сподобил, — сказала она без малейшей иронии. — Теперь в урну бросай — близко.

Плотник утрюмо взглянул на нее снизу вверх и, ничего не сказав, швырнул в урну остатки воблы.

В очереди промолчали.

— Зачем вы это сделали? — спросил я девушку.

Она даже не поняла.

— А что такое?

Я кивнул на метлу. Девушка улыбнулась.

— Стоит ли об этом говорить? Противно было на грязь смотреть.

— Его самого надо было заставить.

— А что проще? — усмехнулась она.

Я оценил юмор положения.

— Развернем борьбу за чистоту. Помните, у Ильфа и Петрова?

— А это кто? — спросила она и, не ожидая ответа, пояснила тихо и строго: — Меня жена его беспокоит. Не знаю, кто она ему — может, и дочь. Какое лицо у нее, видите? Как у мертвой. И губы синие.

И опять, не дожидаясь ответа, она подошла к бородачу:

— Больна она у вас?

Тот даже головы не повернул, продолжая смотреть в одну точку. Женщина на полу рядом с ним действительно напоминала покойницу. Даже нос у нее заострился и губы покрылись синеватой корочкой.

— Здесь ведь и доктор есть. Хотите, схожу?

— Отойди, — сказал плотник, — не тычься.

— Боюсь, плохо ей.

— Отойди, говорю. Без тебя люди живут.

Девушка нехотя, все еще оглядываясь, вернулась в очередь.

— А может, все-таки сходить за врачом? — вопросительно произнесла она, ни к кому конкретно не обращаясь.

— Брось ты его, — философски откликнулся парень и курточке, его кепочка сползла на затылок, обнажив мальчишеский русский вихор. — Его самого бы мордой об пол.

— Все-таки позову, — сказала девушка и шагнула к двери.

— А вы погодите, — остановил ее кладовщик. — Во-первых, врача сейчас в медпункте нет. Если что, «скорую» вызвать нужно. А для чего вызывать? Что у нее за болезнь? Может, она от постов отощала?

Девушка растерянно остановилась.

— А во-вторых, — продолжал кладовщик, — сектанты они. Для них что врач, что дьявол.

— Аминь, — сказал парень с хохолком и протянул руку: — Чибис.

— Кто? — не поняла девушка.

— Чибис Иван. Это — я. Можете Ваней звать. А вас? — Паренек вежливо снял кепку, отчего русский вихор его тотчас же поднялся еще выше.

Так мы и познакомились.

Потом все сидели в буфете наверху, прихлебывая рыженький кипяток из вовремя закипевшего титана. Нас было четверо за столиком — Женя, я и Чибис с Тамарой.

Мы уже знали главное друг о друге, что полагается знать пассажирам: кто ты есть и куда едешь. Все мы попутчики, хотя только у меня билет до Москвы, остальные сойдут раньше — кто где. Женя везет инструментарий и медикаменты для поселковой амбулатории на котлуманском руднике. Каменщики Тамара и Чибис едут со стройки на стройку. Одна где-то закончилась, другая где-то начиналась. Где именно, так я и не понял: столько-то суток ехать поездом, столько-то грузовиком. Ваня Чибис был не охотник рассказывать о себе.

— Да и рассказывать нечего. Доберемся. Все ребята уже там.

— А вы что, запаздываете?

— Погуляли малость.

— До больницы догулялся, — сказала румяная Тамара. Ни бессонная ночь, ни пятый час утра не стерли розовой свежести с ее детских щек.

— Молчи, сверчок.

— Намолчалась. Кабы не я, лежал бы в гробу в резиновых тапочках.

— Мне гроб тесать — руки намаются. Я бессмертный, — хотнул Чибис.

— Бессмертный, — передразнила Тамара и рванула его за воротник рубашки, обнажив чуть пониже шеи вспухший синеватый шрам.

Женя взглянула почти профессионально, без сочувствия, но с интересом.

— Ножом? — спросила она.

— Финкой. Когда из клуба выходили. Томка верно говорит: кабы не она, чиркнул бы ребра на два ниже. Это она в него сзади вцепилась.

— В кого? — заинтересовался я. Но Чибис не проявил авторского интереса к рассказу.

— Так один. Из местных жеребчиков. И засмеялся.

— Я-то выписался, а ему еще лежать и лежать.

— Волки, — сказала Женя. Глаза ее еще больше потемнели и сузились.

Мне показалось, что она сейчас встанет и уйдет. Я невольно взял ее за руку.

— Волки, — повторила она шепотом. — Разве можно так?

— А вы спросите, девушка, откуда? — вмешался в разговор сидевший за соседним столиком Жеребцов. Мы только потом, в поезде, узнали его фамилию, тогда же ни он не счел нужным назвать ее, ни мы ею не заинтересовались.

— Откуда эти волчьи забавки? — повторил он, со скрипом стула подвигаясь к нашему столику. Синие жилки на лбу и небритая седая щетина на запавших щеках его не свидетельствовали о сытой и бестревожной жизни, а воспаленно-красные белки глаз и устойчивый сивушный дух выдавали страстишку давнюю и настолько привычную, что в ней уже не стыдно было признаться. — Подколоть кого или попросту, извините, в морду шарахнуть — это в наших краях обыкновенное дело. Баланс. А вот откуда? От температуры.

Никто ничего не понял.

— От какой температуры? — спросила Женя.

— От сорокаградусной. От веселия Руси. С киевского князя Владимира счет ведем, да сорок лет с гаком увещеваем и агитируем: не пей! А ему хоть в глаза плюй. Все брызжет силой дрожжевой, — почти пропел он дребезжащим тенорком, — хлопочет и поет... Все ходит в чаше круговой и пену на пол льет!

— А сам сколько выпил, папаша? — ухмыльнулся Чибис.

Жеребцов не удостоил его ответом. Он разговаривал только с Женей.

— Оттого и везут их в больницу, милая девушка. Никакой агитацией их не проймешь — сухой закон нужен.

Он еще раз скрипнул стулом, подвинувшись ближе. Женя невольно отодвинулась.

— Не пьян я, не бойся. Так, самую пустяковину — у медведя сил не убавится.

— Медведь, а руки дрожат, — усмехнулась Женя.

Мы все взглянули на руки Жеребцова. Он сидел сейчас в позе нестеровского Павлова, положив на край стола жилистые свои кулаки. Они чуть-чуть вздрагивали.

— Все видит, — смутился он и убрал руки.



— Конечно, вижу, — сказала Женя, не сводя с него суровых, не улыбочивых глаз. — И не от силы пьете, от слабости. Горе у вас, должно быть. Осилить не можете.

Жеребцов промолчал, потупив глаза.

— А закона, по-моему, никакого не нужно, — продолжала Женя, ни к кому не обращаясь. Я тогда впервые подметил ее манеру разговаривать, думая вслух. — По-моему, так: есть у тебя совесть — ее и слушайся. Говорит тебе совесть: брось — значит, бросай. В войну как было? — обернулась она ко мне. — Вы небось помните. Говорила вам совесть: надо — и непереносную тяжесть несли. Значит, и теперь понесете. Совесть у каждого человека есть, пусть тихая, пусть скрытая, а есть. И ключ к ней всегда есть. Ключ к каждому человеку есть.

В наступившей паузе угадывалась всеобщая неловкость. Людям всегда неловко, когда их обвиняют в том, в чем они сами смутно сознают свою вину.

Какой человек, положив руку на сердце, скажет, что он всегда поступает по совести?

Только Чибис, сплонув окуроч, пренебрежительно фыркнул:

— Совесть! И любят же некоторые воду мутить.

И словно в ответ ему Жеребцов ласково погладил Женю по волосам, чуть прикасаясь к ней своей узловатой ручищей, и сказал укоризненно в нашу сторону:

— Эх, вы... глухари. Человека не слышите.

Мы, не сговариваясь, переглянулись с Чибисом. Может быть, и впрямь чего-то недоглядели в Жене.

Тамара, не слушавшая нас, вдруг обернулась на присевшую позади женщину.

— Смотрите... плачет, — удивилась она. — Вроде случилось что.

Наш столик был крайним в зале. Через проход от него тянулась деревянная скамья, занятая спящими в ожидании поезда пассажирами. На свободном месте против нас сидела женщина в таком же, как у Жеребцова, швейпромском плаще и в белой косыночке, низко надвинутой на глаза. Закрыв лицо руками, она вся вздрагивала от рыданий.

— Верно, плачет, — растерянно повторил Чибис.

А, Женя даже поднялась за столом и замерла, словно не зная, броситься ли ей к плачущей женщине или подождать, не тревожить ее. Но Женю уже опередил подошедший к скамейке парень в хромовых сапогах, по щиколотку замазанных серой высохшей грязью. Так же был испачкан и его старенький ватник, не без кокетства наброшенный на плечи. Руки, черные от автола, и шапка-ушанка с кожаным верхом, какие носят шоферы на здешних трассах, изобличали его профессию.

— Ну, — грубо бросил он плачущей, — нашла?

Женщина только всхлипнула, не отнимая рук от лица.

— Убить тебя мало, — сказал шофер. Красивое лицо его искажилось от злобы. — Потеряла?

Женщина заплакала еще громче.

— Да что потеряла-то? — спросил Чибис.

— Билет, — ответил, не глядя, шофер. — На пятичасовой, скорый.

— А далеко ехать?

— Сутки.

— Подумаешь, — фыркнул Чибис. — Касса, поди, открыта.

— Пошабашила касса, — зло оскалился шофер. — Продано все. Одни семечки у оконца.

— Завтра поедешь.

— Нет завтра поезда.

— Ну, послезавтра.

— Нельзя ей послезавтра, — еще более озлился парень. — У, змея придорожная! Не вой, слышишь?

— Полегче, — сказала Тамара, — самому бы не заплакать.

Он даже не взглянул на нее, словно не расслышал.

— Ты посиди пока, — нагнулся он к своей спутнице, — а я к диспетчеру сбегаю. Может, устроит.

Неожиданно ласковая нотка в голосе остановила плач. Женщина подняла голову и недоверчиво взглянула вслед убегающему. Мы увидели щелочки глаз между опухшими веками, грязные от слез щеки и носик-пуговку, растертый до красноты. Ей можно было дать и семнадцать и все сорок.

— Ничего не выйдет, — протянула она, — не уехать мне... господи, не уехать...

И опять заплакала, растирая кулачками мокрые щеки.

Женя не спеша подошла к ней, отняла ее руки от глаз и поправила сползшую на лоб косынку.

— Не тужи, глупая. Надо уехать — уедешь. Вот билет, — и она протянула ей билет. — На тот же поезд, пятичасовой.

Женщина растерянно посмотрела на билет, потом на Женю.

— А куда?

— Доедешь. А понравится, еще двадцать четыре часа можешь ехать, — пошутила Женя.

Женщина было протянула руку, но тут же ее отдернула.

— А вы как же?

— Мне не к спеху. Бери, бери. Да глаза вытри. Слезы еще никому не помогали.

Плачущая — впрочем, она уже не плакала — робко взяла билет, все еще не веря своему счастью. А мы молчали. Даже у Жеребцова не нашлось подходящей сентенции. Или он боялся спугнуть радость женщины, только что подавленной непонятным нам горем.

Молчание нарушил подоспевший шофер, взмыленный как лошадь после скачки. Наверно, и ему досталось не меньше.

— Давай-давай, Клашка! — крикнул он, подбегая. — Цып-лят все одно не высидишь. Где чемодан? — И, вытащив чемодан из-под ног растерянной женщины, он ткнул ей в лицо зажатым в руке билетом. — Только поллитра и стоило.

— А мне здесь... — начала было женщина.

Он не слушал.

— Давай, давай, не задерживай. — И куда-то побежал с чемоданом.

А просиявшая его спутница оглянулась на Женю и робко положила на скамейку мокрый от слез билет.

— Спасибо вам, добрая вы моя... — И тоже побежала, шурша синей, на клетчатой подкладке резиной.

— Дорого нынче жалость стоит, — сердито сказал Жеребцов, когда Женя вернулась к столику. — Вот и мыкалась бы еще двое суток до поезда.

— Дождалась бы в конце концов.

— Где? В гостинице? Гостиницы не про нас с тобой, — голос Жеребцова еще не оттаял. — Даже мне, банковскому контролеру, коечки нет. А медицинской сестре и на сквере хорошо. На бульварной скамеечке. У сатуратора! Вот тебе сон, вот тебе завтрак.

— Не пугайте, — улыбнулась Женя.

Она так редко улыбалась, что мы все просияли от этой улыбки — столько было в ней тихой, застенчивой прелести.

— Ночи сейчас не длинные, — сказала она.

— Почему вы пожалели ее? — спросил я.

— Она же плакала.

— Бывает, и от злобы плачут. Или от жадности.

— Нет, — Она задумалась, словно вспоминая взволновавшие ее слезы, — не от злобы и не от жадности. Зря вы людям не верите.

До сих пор молчавшая Тамара вдруг сказала, ни к кому не обращаясь:

— Плохая, говорят, примета. Отдать билет, а потом все-таки по нему ехать. Может и случиться что... Да не я придумала, люди рассказывают, — обиделась она на ухмылку Чибиса, — а только что-нибудь да случится... Ей-богу.

## 2

Пока ничего не случилось, хотя первый день еще не закончился. Он так всегда долог, этот первый день пути.

В соседнем купе едут два врача — старый и молодой, шестидесятилетний вдовец Борис Львович Красовский и лишь совсем недавно познакомившийся с бритвой Сережа Ермаков. Борис Львович — профессор-терапевт, недавно главврач самой крупной больницы в городе, замыкающем мой командировочный маршрут. Сережа — начинающий врач-хирург той же больницы, всего год назад приехавший сюда по окончании мединститута. Сейчас профессор переводится в Москву ведать еще более крупной больницей и увозит с собой Сережу, жениха своей дочери Аллы.

В купе присутствует и сама Алла, студентка-педагогичка, едущая доучиваться в Москву, но уже соблазненная перспективами другой карьеры, столь для нее заманчивой, что Алла даже вскрикивает испуганно, когда ее спрашивают об этом: «Чур-чур, не говорите, а то не сбудется». На самостоятельном спектакле в институте она приглянулась заезжему кинорежиссеру из Москвы, тут же пригласившему ее на роль медсестры в своем будущем фильме, сценарий которого пока еще дорабатывался

автором. И Алла в ожидании то и дело пристает к отцу с расспросами о больничных порядках: она уже входит в роль.

Место четвертого пассажира свободно: для большего комфорта в пути Борис Львович откупил все купе целиком. А отсутствие этого пассажира восполняю я, завербованный Аллой четвертым партнером в покер. Она проделала это с очаровательной непосредственностью.

— Вы обязательно играете. Верно? Да? У вас типичное лицо покериста — ничего не узнаешь.

В Америке «лицо покериста» — это комплимент. В устах Аллы тоже. Сразу обезоруженный, я соглашаюсь, не очень раздумывая. Тем более что в покер я действительно играю — меня научили американцы в Мурманске во время войны, когда я служил на Северном флоте.

Играем мы по маленькой, с ленцой, без азарта. Тон задает профессор — вежливо, но круто, в манере человека, не привыкшего к возражениям. Только Алла на правах балованной дочки утраивает и учетверяет ставки. Тогда профессор демонстративно бросает карты.

— Чудак, — удивляется Алла, заглядывая в них, — мне бы такую сдачу.

— Мы не в казино.

— Борис Львович не любит рисковать, — комментирует для меня Ермаков.

— Не люблю, — подтверждает профессор, — я за точный расчет.

— Всегда и во всем, — добавляет Сережа без тени улыбки, но в глазах его — или мне только кажется — на какое-то мгновение появляется ребяческая усмешечка, — и в жизни и в практике. Профессор у нас не ошибается.

— Надеюсь, вы пошутили, Сережа.

Сказано мягко, но... Я внимательно прислушиваюсь к разговору.

— Почему? Я совершенно искренне, Борис Львович. Все в больнице так говорят.

Крошечная пауза, во время которой Алла бросает на жениха укоризненный взгляд. Профессор поджимает губы — признак нависающей в воздухе напряженности. Сейчас он похож на состарившегося щелкунчика, нижняя челюсть которого обросла холеной серпообразной бородкой. Бородка уже седая, но челюсть по-прежнему могучая, способная сокрушить любое сопротивление.

Щелкунчик не показывает своего искусства при посторонних. Искоса взглянув на меня, профессор смягчает напряжение добродушной улыбкой.

— Слышите, какую репутацию создали? Дельфийский оракул.

Поезд останавливается на маленькой станции. За рыжими станционными постройками видны еще более рыжие сосны, подсвеченные солнцем. Еще глубже — густая, без просветов дремучая зелень. Что продают на этой станции — молоко? Ландыши? Но Ермаков с Аллой весело бегут на платформу — им все равно, что купить.

— Красивая пара, — говорю я.

Красовский молча следит за ними из окна и довольно вздыхает:

— Без матери росла. А какая березка выросла.

— И парень хорош.

— Ничего, — осторожно соглашается профессор, — возможно, и выйдет толк.

— Способный хирург?

— Пока еще себя ничем не проявил. Самостоятельных операций не делал.

— Почему же? Не давали?

— Прежде чем ответить, профессор жует губами. Вопрос ему явно не нравится.

— Справлялись опытные хирурги, — говорит он.

Профессор, кажется, не особенно симпатизирует будущему зятю. А жаль. Мне лично Ермаков нравится. Высоколобый, с мечтательным или рассеянным взглядом, устремленным куда-то в пространство, он мало говорил, больше слушал и казался мягким, податливым материалом, из которого Алла и профессор со временем что-то вылепят по своему образу и подобию. И только детская смешинка в глазах и чуть-чуть ироническая интонация в голосе, которую, как мне показалось, я только что слышал, выдавали сопротивляемость этого материала. Любит ли он Аллу? Вероятно, ему казалось, что любит, но тогда ни он, ни я еще не знали, чем все это кончится.

К новым профессиональным замыслам Аллы он относится не то чтобы неодобрительно, но с какой-то внутренней настороженностью, избегает говорить о кино, ссылаясь на некомпетентность, но всегда внимательно прислушивается к тому, что говорит Алла. А та говорит часто и охотно, особенно о своей будущей роли.

— Я из-за нее часами у папы в больнице просиживала. Не могу сказать, чтобы меня это обогатило. Сестры больше по коридорам бегают, а говорят о тряпках да о танцах или о мальчиках. Профессиональных разговоров никаких. Придется наполнять образ чисто актерскими средствами. Я его уже ощущаю. Знаете, такая тихая, незаметная девушка, влюбленная в своего палатного врача. Он делает какие-то опыты, какие-то наблюдения, но материала не хватает, что-то не клеится, он нервничает, уже готов все бросить. У него своя любовная история, но она ему только мешает, в общем — катастрофа. Но я все время с ним, понимаю его, тайно помогаю ему, и когда он в конце кон-



цов доводит свою работу до конца, то узнает, кому, в частности, обязан своей победой.

— Банальная историйка, — говорю я.

— Это только в моем пересказе, — защищается Алла. — Все гораздо сложнее. Особенно образ Женечки.

— Кого?

— Женечки, Жени. Это меня так зовут.

Я не могу удержаться от смеха.

— Чему вы смеетесь? — обижается Алла.

— Совпадению, Аллочка. Бывают же такие совпадения. Со мной в купе едет медсестра, и зовут ее, представьте себе, Женей.

Глаза у Аллы круглеют и загораются.

— Молодая?

— В вашем духе.

Она даже вскакивает от волнения, роняя на пол колоду карт. Профессор морщится.

— Осторожно, Алла! Не все ли тебе равно, кто едет в соседнем купе.

Нет, ей не все равно.

— Золотко, познакомьте. И сейчас же, сейчас. Слышите?

Мы разговариваем уже давно, и я все время ловлю себя на том, что люблю Женей. В ней нет ни застенчивости, ни смущения, ни развязности, прикрывающей неловкость, ни внутренней напряженности, когда о человеке говорят, что он сидит как на иголках. Я не наблюдаю в ней даже естественного чувства самоконтроля, которое заставляет порой внимательно следить за каждым своим движением и словом и зорко присматриваться к собеседникам — не проговорятся ли они о тебе взглядом или улыбкой, нечаянно вздернутой бровью или пожатием плеч. Сколько таких улыбок, взглядов и вздернутых бровей

предъявили нам и профессор и Алла, но Женя или не замечала их, или не старалась прочесть.

Алла дирижирует разговором, ревниво оберегая его от нашего вмешательства. Она уже успела выпытать у Жени многое — и о сибирском селе, где та родилась и выросла, и о старенькой сельской учительнице, которая воспитала ее, когда родители Жени утонули на переправе, и о котлуманской больнице, ставшей одним из ее университетов, каких, я убежден, у нее будет еще немало. Сейчас Алла осторожно подкрадывается к интимным подробностям Жениной биографии.

— А вы влюблялись когда-нибудь?

— Девчонкой? — смеется Женя. — А что? Конечно.

— Расскажите.

— Вот еще! Пустое все это. Девчачьи забавы.

— А сейчас?

Лицо Жени снова становится строгим.

— Зачем вам это? — спрашивает она и ловит взгляд, которым мы обмениваемся с Аллой.

Мне становится неловко.

— У Аллы Борисовны есть причины интересоваться вами. Женя.

Теперь Алла вынуждена рассказать все, что она и делает с явным удовольствием. От этого, впрочем, известный мне сюжет не становится интереснее. Но Женя слушает с любопытством. Совсем новый мир как бы приоткрывается для нее с заднего хода.

— Ну как — нравится? — интересуется Алла.

— Нет.

Я опять подмечаю насмешливые искорки в глазах Ермакова. Но искреннее огорчение Аллы так комично, что трудно сдерживать улыбку. Даже профессор издает сочувствующий смешок.

— Вот ты и теряешь первого зрителя, Алла. А что дальше будет?

Но Алла не намерена изменять героям своего фильма.

— Почему? — недоумевает она. — Ведь это ваша среда, Женя. Вам должно быть приятно, что картина о вас.

— Неправда все это, — говорит Женя.

Глаза у Аллы круглеют. Ермаков отворачивается к окну: ему очень хочется рассмеяться. Мы с Красовским опускаем глаза.

— Как неправда?! — восклицает Алла. — Молодой врач хочет лечить по-новому, мучается, ищет. Это так хорошо подмечено.

— А зачем он скрытничает? — спрашивает Женя.

Алла не понимает.

— Почему он один? И никому не мил? И никто ему не помогает... Зачем он таится ото всех?

Алла беспомощно оглядывается на отца. Тот, снисходительно улыбнувшись, приходит на помощь:

— Видите ли, милая девушка, если метод не проверен, может, даже сомнителен, — во всяком случае руководство может так думать, — его никто не поддержит.

— Еще бы, — неожиданно замечает Ермаков, — руководство знает, что делает.

Красовский бросает на него удивленный взгляд и сухо добавляет:

— Мы не рекомендуем таких экспериментов.

— Ну вот, — торжествует Алла, радуясь, как ей кажется, моральному разгрому противника, — а вы говорите: неправда. И то, что она любит его, тоже неправда? И что тайно помогает ему?

— Почему тайно?

— Ну как вам объяснить... Она ведь скрывает свое чувство.

— Для чего?

У Аллы восковой спелости щеки, без румянца. Сейчас по ним разливаются пунцовые пятна. Алла сердится.

— Это же элементарно, в конце концов... Ей просто по-женски стыдно сказать ему об этом... стыдно признаться. И ему... и всем.

Женя задумывается.

— Разве стыдно признаться в том, что любишь хорошего человека? — думает она вслух.

Я смотрю на Ермакова, он на меня. Его глаза откровенно смеются. Если пауза затянется, это наверняка заметит и Алла. Но Женя, ни разу на него не взглянувшая, вдруг спрашивает:

— Ведь вы тоже доктор, да? Неужели вам это кино нравится?

— Зеленая чушь, — храбро говорит Ермаков.

Я не знаю, что он прочел в глазах Аллы, но именно в этот момент дверь купе чуть приоткрывается, обнаруживая лукавый хохолок Чибиса.

— Зайчик, — говорит он сквозь щель. — Мы обедать пошли. Айда, сматывайся.

Я ухожу вслед за Женей, чтоб только не оставаться в купе Красовских. Совсем не хочется, чтобы при тебе перемывали косточки хорошему человеку.

Как медленно тянется в поезде время. Кажется, что и день прошел, а солнце все еще высоко. Сейчас оно перевалило на запад и бьет прямо в глаза, — нам приходится отодвинуться от окна и задернуть пыльную занавеску над столиком. Да и смотреть в окно не хочется: все те же отвоеванные у тайги пашни, кромка леса на горизонте и выплывший аквамарин неба. Жеребцов уверяет, что это на целый день.

— Хорошо бы лишнее время в сберкассе сдавать, — сказал он и зевнул столь оглушающе, что за соседним столиком засмеялись. — Создали бы такой банк времени. Есть лишнее время — отдай государству на хранение. А потребуется — получиай квитанции. Хошь полчаса — хошь час.

— Я бы каждый день по часу откладывала. За год триста часов верных. Две недели почти, — подсчитала Тамара.

— Некуда нам лишние часы сдавать, Томочка, — указал Жеребцов и поднялся, — а посему принесем их в жертву эллинскому богу Морфею. Пойдем, ребенок. Не будем мешать смычке пролетариата с интеллигенцией.

— Я с вами иду, — присоединилась Женя.

Чибис, молча проводил ее недобрым взглядом и усмехнулся:

— Тоже небось жертву приносит.

Я недоуменно посмотрел на него.

— К сектышу пошла, — сказал он.

Он едет в одном купе с угрюмым сектантом-плотником, который ни с кем, кроме Жени, в вагоне не разговаривает.

— Она и к нему ключ подобрала, — продолжал Чибис с раздражением, все более и более накипавшим, — все думает от бога отговорить. А зачем? Бог таких не берет, а нам и не надо.

Он залпом выпил свою рюмку водки. Я молча присоединился. Во время обеда в присутствии Жени мы не осмеливались на подобную вольность. Даже наш старик бегал причащаться к буфетчику.

Недобрый взгляд Чибиса и сердитые нотки в его голосе — результат нашего разговора за обедом. Разговор был совсем не обеденный. Тему его мы принесли от Красовских — Женя никак не хотела с ней расстаться. А может быть, это я поджег трут.

Помню, я сказал уже в коридоре:

— Зря я познакомил вас с ней, Женя.

- Почему зря? — удивилась Женя. — Она симпатичная.
- Типичная фифа. Эгоистичная и капризная.
- Как вы сказали — фифа? — заинтересовалась Женя. —

Слово есть такое?

- Пустил кто-то. Про этих-то вот смазливых и глупеньких.
- Она не глупенькая. Ей только кажется, что она все знает. И какое кино нужно людям, и как жить надо, и в чем счастье. Будет горько, когда ошибется.

— Такая не ошибется, — сказал я злорадно. — Вся в папу. И жизнь свою устроит, и мужем вертеть будет. А потом и за границу поедет на какой-нибудь фестиваль.

Женя молча прошла вперед и только в тамбуре обернулась.

— Не знаю. Только мне почему-то кажется, что ей не легко будет с мужем. Он ведь другой — вы заметили? Совсем другой.

Что-то в ее голосе заставило меня насторожиться: а не переоценивает ли она этого юношу?

- Другой-то другой, а какой? Молчит мальчик.
- Трудно с ними, потому и молчит.

Мы уже пришли в вагон-ресторан и направлялись к столику, за которым опознавательными знаками встречали нас упрямый вихор Чибиса и несмываемый румянец Тamarы. Но Женя мысленно еще не рассталась с Красовскими.

— Одинокие они, — продолжала она, садясь к окну. — И отец одинокий. У нас директор в школе был, Герасим Захарыч, такой же важный. Не говорит — цедит, а глаза за очками как две льдинки. А как-то пришли к нему домой, — тетрадки по физике с девочками принесли, — один-одинешенек сидит, чай себе на примусе кипятит. Курточка на нем рваненькая, а кругом пыль. С тех пор я его ничуть не боялась — жалела. Так и доктор этот. Никого нет кругом.

— Ты о ком? — спросил Чибис.

Женя рассказала. Иван фыркнул и подмигнул мне:

— Опять агитировала?

Она посмотрела на меня, словно ища поддержки.

— Разве? Нет, Ваня, не агитировала. Просто разговаривали.

Они спрашивали, я рассказывала.

— Знаем твои рассказы. Все в душу чужую заглянуть хочется.

— Хочется, Ваня.

— Это только в кино чужую душу показывают. Открыт человек, как плевательница. Кто хошь — тот и плюй. А в жизни он сам в каждого норовит плюнуть.

— Только дурное и видишь, — вздохнула Женя.

— Правильная ты очень, словно тебя по линейке делали.

— Правильная? — вдруг встрепенулся Жеребцов. — Праведная скажи — вернее будет.

— Все шутите, Яков Егорович, — смутилась Женя.

— Какие уж с тобой шутки.

— Это верно, характер у меня для людей неприятный, — вздохнула Женя. — Всегда скажу что-нибудь, что им смешно или не нравится почему-то. Так было и когда в школе училась, и когда у тетки жила, и на курсах. А в Котлумань приехала — ребята меня поначалу даже невзлюбили. На гулянки не хожу, танцевать не умею. Только и знаю, что в клубе у радиоприемника сижу, музыку слушаю. А кому, понятно, охота сидеть молчком рядом — скучная, говорят. Потом еще хуже вышло. Когда на общественном суде выступила — хулигана у нас судили, да не хулиган он вовсе... так, сорвался мальчик, зря они его... — так со мной все как с чумной стали: против коллектива, говорят, идешь. Только когда Каманиху сумасшедшую привела, по-другому пошло. А то бы... — Она взглянула почему-то на меня и умолкла. — Зря все это рассказываю.

— Да что вы, Женечка, — воскликнул я, — почему зря? Давайте дальше.

- Еще напишете что-нибудь.
- Обязательно напишу. Разве плохо написать про хорошее?
- Еще смеяться будете.
- А ты не набивай цену! Рассказывай, если просят, — прикрикнул Чибис.

— Невеселый это рассказ, и начало невеселое, и конец страшный. Еще до моего приезда в Котлумань там механик Каманин жену бросил. Оставил ее с тремя детьми, а сам уехал куда-то. Она после этого заговариваться начала. Ее и к районному психиатру возили, да там обратно отправили: а мест не было, не такая она. Сказал: даже работать может. Но когда я приехала, она уже не работала, все на головную боль жаловалась. Я к ней часто по вечерам забегала — то по дому поможешь, то за маленьким приглядишь. Сразу у меня засыпал. Я и песенку сама сочинила — мотив такой привязчивый, жалостный. Несколько раз споешь — он и спит. А две девочки постарше у соседей ночевали. Дома боялись: мать по ночам вскакивала, шумела, все бандитов боялась. А никаких бандитов и не было. Поселок у нас большой, а в общем тихо живем, без скандалов.

А под Первое мая соседи в район уехали, девочки у матери легли. Хорошо, чутко спали, проснулись, когда она топор из-за печки тащила. Должно быть, совсем помутилась, коли родных дочерей не узнала. Одна-то выскочила — окошко было не заперто, приоткрыто, другая не успела. Топором ей плечо рассекла. Хорошо, все обошлось: только месяц в больнице пролежала. Ну, а маленького Каманиха совсем не тронула: испугалась, что ли? Услышала, что народ шумит, да так с топором пустырями да огородами — к лесу. Ну, утром, понятно, розыск. Кому охота в лес идти: сумасшедшая да еще с топором, а милиция у нас не особенно храбрая, все больше с пьяными воюет. На поиски пошли комсомольцы со стройки, за праздники лес кругом километров на десять прочесали, только не нашли Каманихи. Про-



шло, должно быть, дней пять. Тут Генка, шофер, из рейса вернулся, видел, говорит, Каманиху у Михалева лога — в малинике пряталась. Мало кто поверил: Генка любое сочинить может. Ну, а у меня как раз выходной был. Пойду, думаю, посмотрю.

— Не побоялась? — ахнула Тамара.

— Конечно, страшно было: все-таки без ума человек. Правда, если рассуждать, я всегда убежать могла. И моложе я, и ослабла она, наверно, — ведь неделя почти прошла. А встретились, даже стыдно стало — кого боялась. Измученная, жалкая — еле бредет. На песню шла. Спою, думаю, ту песенку, что Митюшке пела. Ну она и услышала. И показалась она мне совсем не помутившейся, не заговаривалась и на вопросы отвечала обыкновенно. Только все о разбойниках спрашивала: где они, мол, сейчас. В район, говорю, их увезли, не бойся. Тут она совсем успокоилась и охотно со мной пошла. А когда по улице шли, так все дивились, даже не верили. И дядя Вася, милиционер, бобиком прибежал, только зря. Сама она по доброй воле в машину села и всю дорогу тихонечко ехала. И знала ведь, что в больницу везут.

Женя зажмурилась и замолчала. Солнце, до сих пор освещавшее противоположную сторону поезда, обогнув его, ворвалось теперь в наши окна. И первые же прорвавшиеся лучи-разведчики атаковали сидевшую с краешка Женю, сразу выделив ее, единственную из нас, залитую щедрым до боли светом.

— А дети? — опять спросила Тамара.

— Девчонок в детдом пристроили, а Митюшку... — улыбнулась Женя, и застенчивая улыбка ее показалась мне особенно просветленной и нежной, — к себе взяла. Феня, санитарка наша, хотела взять, да у нее самой двое. Где ей.

— Не пожалей потом, когда женихов поубавится, — сказала Тамара.

— Хорошему человеку дите не помеха, — посочувствовал Жеребцов.

Но Женя не нуждалась в сочувствии.

— Митюшка никому не помеха, а женихов у меня и так нет.

— Неужто? — насмешливо спросил Чибис.

— Один, правда, предлагал, да мне ни к чему.

— Обет дала?

— Просто не люблю. Полюблю — выйду.

— Чтoб коммунизм вместе строить, — скривился Чибис.

Таких шуток Женя не понимала.

— Над этим не смеются, Ваня.

— Веришь, значит? — вдруг спросил Жеребцов.

— Во что?

— А в коммунизм.

— Шутите, Яков Егорович.

— Да нет, пожалуй. Раньше тоже все царствие небесное людям сулили.

Женя даже привстала, не сводя с Жеребцова суровых обвиняющих глаз.

— Так не шутят. Не надо.

— А что — свято?

— Свято, Яков Егорович.

— Стар я, должно быть, — вздохнул Жеребцов. — Вот и одолевают сомнения. Уж очень много дрянных людишек кругом. Посмотришь — руки опускаются.

— Плохо вы смотрите, — строго сказала Женя.

Так и кончился наш обед. Уже и разошлись все, и официантки рядом переворачивают залитые супом и пивом скатерти, а мы все еще сидим за пустыми рюмками, не решаясь уйти. Ивану явно хочется что-то сказать мне, а я терпеливо жду, когда он это сделает.

Наконец он произносит, глядя куда-то мимо меня. Полушепотом:

— Как думаешь, есть любовь с первого взгляда?

Я не скрываю недоумения.

— Если б меня спросила об этом Тамара, я бы удивился. Но от тебя услышать...

— Я честно спрашиваю. Ты старше меня и знаешь больше. Да еще писатель. Вот и объясни.

— А тебя почему это интересует?

— Не увиливай. Я же объяснить прошу. — Чибис уже начинает сердиться.

— Ну, если сослаться на классиков...

— Плевать я хотел на твоих классиков.

— В конце концов, первый взгляд — понятие условное. Все-таки это сумма каких-то впечатлений, разговоров, встреч...

— Сумма, разность, — зло прерывает Чибис. — Ты еще корень квадратный извлеки. Теоретик.

— А насчет практики — извини. Опыт у меня небольшой.

— А у меня большой. Девочек тьма было. А вот врезался, — угрюмо вздыхает он.

— В Женю?

— А то в кого?

Вероятно, у меня глупый вид, потому что Чибис насмешливо улыбается.

— Чего тарачишься? Удивлен?

— Признаться, да.

— А что — нельзя?

— Почему нельзя? Женя — редкая девушка. Только уж очень все у тебя быстро. Не ошибаешься ли? Не из таких она.

— Сам знаю, из каких. — Он произносит слова нехотя, сквозь зубы, и только неподвижная, жесткая линия подбородка говорит о его сдерживаемом волнении. — Никогда со мной это-

го не бывало. Все думаю и думаю... ни о чем другом не могу. И кажется, ничего нет в девчонке — так себе, сыроежка. А вот по-ди ж... Некуда мне теперь без нее.

— Чудак человек, она же с тобой не поедет.

— Я с ней поеду. Там тоже строят что-то. Пригожусь.

— А с Тамарой как же?

— С собой возьму.

Меня поражает его цинизм. Вероятно, это отражается на моем лице, потому что Чибис насмешливо добавляет:

— Думаешь, гуляю с ней? Тоже мне инженер человеческих душ! Сестренка это двоюродная. Тети Кати дочка.

Я не оспариваю существования неизвестной тети Кати. Правда, я несколько раз подмечал взгляд Тамары, ревниво следящий за Иваном, но мужчины обычно народ толстокожий. Он мог и прозевать весну на Тамариной улице.

А сейчас он встречается свою весну.

— Вот ведь как сердце взяла — даже больно, — он сжал кулак и скрежетнул зубами. — И чем — вопрос? Чистая она, верно? В каждом из нас мусора-то — нос зажимай. А у нее ни пылинки. Чудно.

Он вдруг нагнулся ко мне через стол и спросил резко и зло:

— Мешать не будешь?

Вопрос звучит настолько для меня неожиданно, что я теряюсь. Неужели я дал ему повод подумать, что мой интерес к Жене диктуется чем-либо иным, кроме писательского любопытства? А может быть, инстинкт влюбленного позволил ему прочитывать то, что я прятал даже от себя самого. От одной мысли об этом делается неловко. Я чувствую, что краснею.

— Я думал — ты умнее, — говорю я сквозь зубы.

Чибис пренебрежительным щелчком сбивает со стола кусочек хлеба.

— Все мы в одном растворе мешены. Почему я знаю, для чего ты возле нее увиваешься.

— И буду увиваться, — отвечаю я уже спокойнее. — И возле тебя тоже буду. Профессия такая.

— Знаем мы вашу профессию, — ухмыляется он, — днем к молочку принохиваться, ночью пеночки снять.

— Ссоры ищешь?

— Зачем? Не будешь мешать — так разговор кончен, лапу давай. Будешь — еще потолкуем. Только... — он критически оглядывает меня, — думается мне, что не будешь.

— Испугаюсь?

— Нет, кишка у тебя не та. Староват для нее. Женат небось?

— Конечно.

— И дети есть?

— Нет детей.

— Все одно староват.

Он встает, сладко потягивается, так что кости хрустят, и, лукаво подмигнув мне, проходит вперед.

Я молча иду за ним с чувством непонятной утраты. Словно я только что уступил что-то, может быть, очень для меня дорогое. Мне даже хочется плюнуть в физиономию, которая отражается в запыленном стекле открываемой двери вагона. Прав Чибис: какой уж из меня инженер человеческих душ!

Иван не ошибся. Женя была у плотника-сектанта. Знали его Матвей. Они сидели друг против друга у иконного столика и тихо беседовали. Жена Матвея, Наталья, с вязанием в руках отодвинулась к двери, чуть-чуть придерживая ее ногой. Длинные ее ресницы совсем прикрывали глаза. Искусные пальцы, ни на секунду не останавливаясь, играли спицами, грубая шерстяная ткань чулка натягивалась и росла. Казалось, эта молчаливая женщина, повязанная платком по-монашески, прислушивалась

к чему-то своему, уводившему ее из окружавшего мира. Только мелкие росинки пота на лбу выдавали ее внутреннее напряжение. Ведь в вагоне было совсем не жарко.

Чибис, лукаво подмигнув мне, сильно толкнул дверь и произнес с театральным пафосом:

— Пожалуйте разговляться в нашу часовню.

Матвей, подпиравший кулаком заросший свой подбородок, даже не повернулся. Не подняла ресниц и Наталья. А Женя сказала осуждающе:

— Нехорошо, Ваня. Во-первых, глупо: в часовне не разговляются. А потом — не надо смеяться над тем, что человеку дорого.

— Дорого-дешево, — озлился Чибис. — А если ему обман дорог? Муть дремучая! Ему, вишь, дорого, а меня тошнит!

— Все равно нельзя. Ты как в трактир вошел — дверью хлопнул. А здесь не водку пьют.

Мне не захотелось уходить. Разговор, очевидно, этим не кончится, а разговор принципиальный. Я ведь знал, почему горячился Чибис. Ни в одном споре с Женей он не выходил победителем. Его мужское достоинство было смущено и обижено.

Наталья вдруг подняла на нас глаза — темные, мутные, полные неясной тревоги.

— Садитесь, гостями будете, — сказала она певуче, — хотите мяты горяченькой? Чаю-то мы не пьем.

Я присел рядом с Женей. Чибис остался стоять в проходе, не решаясь или не желая воспользоваться приглашением Натальи. Это было его купе, но сейчас он чувствовал себя здесь чужим.

— Далеко едете? — спросил я Наталью.

Она неопределенно ответила:

— Далеко. Водит нас ангел господень по грешной земле. А все без утехи.

— Почему без утехи?

— А в чем ваша утеха? — в ответ спросила она, напирая на слово «ваша».

— В работе, — засмеялся я.

— Что работа — что пища, — вздохнула она, — без нее не проживешь. В другом — утешение.

— В чем же?

— В чистом сердце. Только мало их — с чистым сердцем. В грехе живут люди.

— Не веришь ты людям, Наташа, — вдруг сказала Женя. — А ты поверь. Тогда и найдешь.

— Где, девушка?

— Везде. Хорошего человека не проглядишь.

— Сердце богу открываешь — не людям.

— В бога я не верю. А людей знаю. Одной не прожить, Наташа. А ты и с богом одна.

Наталя не ответила. Спицы опять задвигались, только — или мне показалось — без прежней монотонности. Видимо, она обдумывала ответ.

Но Чибис опередил его. Он не умел долго молчать.

— И надоела мне эта муть — поперек горла становится! — проговорил он с сердцем. — Мы коммунизм строим, а они при царе Горохе живут. Видали пилочку? — Он пренебрежительно ткнул пальцем в ящик с инструментами, стоящий на верхней полке. — Ею дед того мужика пилил, который эту дорогу строил. И он пилит. А что труд облегчает — то не от бога. Думаете, почему он на стройку работать не идет? В ведомости не хочет расписываться.

— Не хочу, — сказал Матвей.

— Бесовская бумага?

— Бесовская.

— Слыхали? — словно обрадовался Чибис. — А ведь партизаном был.

— Был, — подтвердил Матвей без всякой гордости.

Я заинтересовался.

— Вы и тогда в бога верили?

— О том другой разговор. Верил ли, не верил — дело прошлое, — отрезал он.

Что пережил этот человек, когда последний полицай ушел из его села, какая судьба привела его из партизанских лесов в злоеущий лес его отрешенной от нас души? Об этом Матвей никогда не расскажет. Ни единой душе человеческой.

Но Чибиса это и не интересовало.

— Не трожь, говоришь? — обернулся он к Жене. — Да разве словом проймешь такого?

— Каждое слово твое огнем выжгут, — сказал Матвей.

— Это кто же выжжет?

— Найдется кто. На страшном суде выжгут.

— Интересно. А страшный суд когда?

— Скоро, — глухо произнес Матвей, и лицо его осветила недобрая радость. — Придет антихрист и будет клеймить людей, пока не упадут они перед господом. Только неотголиммы ваши грехи. Не спастись.

— Всем? — лукаво спросил Чибис.

— Зачем всем. Избранники спасутся. Святой жизни люди.

— И ты?

— И я.

— Святой жизни человек?

— Отчепись.

Но Чибис уже вкусил крови.

— Интересно. А в чем святость твоя? В том, что жену замутил? На транспарант похожа — вся светится.

Непонятное слово неожиданно задело Матвея.

— Про жену не смей. Топоран, — на мгновение лицо его судорожно искривилось. — У меня два топора что ножички.



Наталья, во время спора не поднявшая глаз, вдруг вытянулась, запрокинула голову, рука с вязанием безвольно упала на колени, глаза закрылись. Дышала она тяжело и часто, как дышат, преодолевая боль.

Женя участливо нагнулась к ней.

— Худо? Где болит?

— Мутит, — прохрипела женщина.

— А она не беременна? — тихо спросил я.

— Не думаю, — ответила Женя. — Боли у нее где-то. Не говорит.

Наталья еще раз вздохнула и открыла глаза. По-моему, они ничего не видели, совсем помутнев.

— Отпустило, — прошептала она.

— Не болит?

— Чуть-чуть... как раньше. Ноев.

— Где?

— Под ложечкой. И пониже... — Наталья стыдливо дотронулась до живота и потупилась.

— Нельзя же так, без врача, — сказал я. — С этим не шутят.

— Я и говорю, — подхватил Чибис, — с утра им долблю. С нами два врача едут. В одном вагоне. А эти ни в какую. Слуги, мол, антихриста. Клеймо дьявола, — передразнил он.

— Матвей, — тихо сказала Женя, — плохо с ней. Язва, может быть, или аппендицит. Я ведь в больнице работаю — насмотрелась.

Матвей тупо взглянул на нее и не ответил.

— Вдруг случится что — поздно будет.

— Все мы изгнанники на земле, — сказал Матвей. — Один ходит, другой падает. Божья воля.

— Человека пожалей, Матвей, — тихо произнесла Женя, но так строго, что мы с Чибисом вздрогнули.

И Матвей вдруг с неожиданной и даже непонятной лаской во взоре взглянул на больную.

— Я ли ее не жалею, — так же тихо ответил он.

— Я приведу врача.

— Нет.

— Матвей...

— Да не тревожься ты, девушка моя милая, — заговорила Наталья, робко касаясь Жениной руки, — Сердце свое не рань — я крепкая.

— Выйдите-ка все отсюда, — сухо сказал Матвей, подымаясь — Молиться буду. При чужих у нас не положено.

— Повинуясь суровой требовательности его тона, я подхватил Женю под руку. Иван вышел за нами.

— Погубит он ее, — буркнул он, — а вы нянчитесь.

— Может, все-таки пригласим Красовского? — предложил я. — Не убьет же он его.

— А что? — обернулся Чибис. — Слыхали небось: топоры что ножички.

— Ведь есть же у него совесть, — будто сама с собой проговорила Женя.

— Разная бывает совесть. У одних — комсомольская, у других — каторжная. А у этого — своя, трясучая.

Чибис даже сплюнул от злости.

— Пошли, Женечка. — Я решительно подтолкнул ее. — Ваня прав — с такими ничего не поделаешь.

Женя молча прошла вперед.

А мы шли позади с острым чувством жалости к ней, именно к ней, а не к той, чужой и непонятной сектантке.

Покой нам только снится...

просительно смотрит в окно. Из окна видны весенняя проселочная дорога и застрявшие в грязи самосвалы. Поезд в этот

момент поворачивает вправо, и долго еще видны в сумеречной дали суetyающиеся возле машин водители и колхозники.

— Вы о них? — спрашивает Женя.

— Нет, о вас.

— Почему? — Она искренне удивлена.

— Потому что вас беспокоит судьба каждого встречного. Не можете пройти мимо.

— Не могу, — смеется она. — Так ведь он сам начал.

Речь идет о Сереже Ермакове.

Мы только что опять вернулись из вагона-ресторана, который становится чем-то вроде поездного клуба. Я заглянул туда, оказавшись один в купе, — все мои спутники куда-то исчезли. В вагоне-ресторане меня неожиданно окликнула Женя — она сидела с Ермаковым за нашим столиком у окна.

— Володя, куда вы? Идите к нам!

Володей она называла меня по моей просьбе. Я был старше ее лет на пятнадцать, но в ее присутствии мне почему-то хотелось забыть об этом.

Ермаков при моем появлении смутился и замолчал. А я не мог скрыть своего удивления. Как я и предполагал, Женя в профессорском купе не понравилась. Алла категорически отвергла ее как модель. «Не годится. Нелепая она, несовременная. И слова какие-то старушечьи: не мил, не люб, таится...» «Примитивна и неинтеллигентна», — подытожил профессор. Ермаков, по обыкновению, промолчал.

А сейчас он сидел с Женей вдвоем и взволнованно — огонек волнения в его глазах еще не погас при моем появлении — говорил ей о чем-то явно интересном для обоих.

— Отчего замолчали? Продолжайте, — подзадорила его Женя.

Он принужденно улыбнулся.

— Обвиняет меня в несамостоятельном мышлении, — пояснил он.

— Обвиняю, — сказала Женя.

— А вы думаете: кончил институт и уже хирург? Нет, еще и на практике учишься. Надо еще пальцы развивать. Руку хирурга. Профессор говорит...

— Опять «профессор говорит»?

— Это я по привычке. С ним работать — хорошая школа.

— Потому и в Москву едете?

— Экзаменует, — улыбнулся мне Ермаков. — А почему Ломоносов в Москву пешком шел? По той же самой причине. А если взглянуть с чисто профессиональной точки зрения, то вопрос, где лучшая школа для хирурга, — уже не вопрос.

Что-то знакомое послышалось вдруг в его интонациях, и Женя тотчас это заметила:

— Не то говорите, Сережа. Не свое.

Ермаков покраснел и по-мальчишески рассердился:

— Откуда такая уверенность, Вольф Мессинг в юбке! И почему ехать в Москву — это плохо? Вот вы, журналист, — он повернулся ко мне, — объясните мне одно вопиющее недоразумение. У нас принято считать, что уезжать с периферии в Москву — это нечестно. Почему? Не понимаю.

— У нас не принято так считать, — поправил я.

— И все-таки считают, — возразил он.

Мне показалось, что он спорит не со мной и не с Женей даже, а с самим собой, с кем-то в глубине души, кто осуждает и эту поездку, и что-то еще более важное.

— А если уехать для того, чтобы учиться? Еще больше учиться, еще больше знать?

— Для себя? — спросила Женя.

Ермаков не ответил.

— Не знаю, — продолжала она задумчиво, — мне другое понятней. Нашу Варвару Михайловну в городскую больницу приглашали. Сам райздрав уговаривать приезжал: «Перспективы шире и удобств больше, да и учиться сможете, квалификацию повысить». Она выслушала и спрашивает: «А больные мои как?» — «Нашли о чем беспокоиться, — говорит, — другие будут. Этого добра, мол, у нас сколько угодно». Посмотрели бы вы на нее в эту минуту: выпрямилась, покраснела, отвечает, как на собрании: «Больной для меня — не учетная карточка, а живой человек. Я все о нем знаю, как живет и о чем тревожится. Как же я могу бросить его на другого врача, ничего о нем не знающего, да еще, может быть, и равнодушного? А учиться, говорит, я и так учусь». Скажете — плохо?

— Знаете, — устало произнес Ермаков, обращаясь почему-то ко мне, а не к Жене, — каждый день читаешь статьи о советском характере. Кто-то едет куда-то, что-то строит, в общем, делает что-то замечательное. И таких статей все больше и больше, пафос их все истощнее... в этом уж вы виноваты, товарищи журналисты, — так что начинаешь задумываться. Сначала завидуешь, конечно. Потом привыкаешь. А в конце концов примиряешься с тем, что сие не про тебя писано, что ты — явление не исключительное, и жить тебе с такими же, как и ты, которые в калошах ходят, а не в семимильных сапогах-скороходах.

В первый момент я даже не нашелся, что ответить, так ошеломила меня эта тирада. Откуда такой пессимизм у юноши, едва прожившего четверть века?

Я так и не ответил ему, потому что он вдруг резко, всем корпусом отвернулся от меня и сказал с виноватой улыбкой:

— Не сердитесь, Женя. Я, в общем, не то говорю. Иногда чертовски хочется поступать по-своему, никого ни о чем не спрашивая, ни на что не оглядываясь.

Почему он это сказал, я так и не понял. Но Женя, видимо, поняла отлично.

— А я догадывалась об этом, — поддержала она Ермакова. — Я даже думала, что вы так скажете.

— Строго вы судите людей, Женя, — вздохнул он.

А суть беседы так и осталась для меня загадкой. Поезд медленно подходил к станции, и повеселевший подсудимый поспешил вежливо ускользнуть от судьбы.

#### 4

Все это было вчера. А сейчас опять утро, только седое, свинцовое от туч, обещающих дождь. Но дождя пока нет.

Поезд стоит на маленькой станции в лесу, плотно подступающем к насыпи с обеих сторон. Скорые здесь обычно не останавливаются, но мы стоим уже полчаса, и, когда тронемся, неизвестно. Может быть, через час, может быть, завтра.

Еще задолго до остановки после утреннего завтрака поползли по вагонам зловещие слухи. Один из них принесла Алла.

В соседнем вагоне ехала съемочная группа мосфильмовцев, только что отснявшая натуру для нового фильма. Алла часами просиживала у них, каждый раз возвращалась с какой-нибудь байкой.

— Есть новостишечка, — объявила она, заговорщически оглядываясь. — Только тихо, без паники.

Мы с Сережей играли в шахматы, профессор читал «Цитатель» Кронина, поминутно отрываясь и надоедая нам воспоминаниями о своей прошлогодней поездке в Англию на съезд терапевтов.

— Опять жаргон, Алла, — недовольно поморщился он, — в чем дело?

— На следующей станции поезд задержат.

— Чепуха, — сказал профессор. \*

— Вот увидишь. Будто бы дано распоряжение по линии. Крушение или что-то вроде.

Я поспешил в свое купе. Там слух подтвердился. Всеведущий Жеребцов даже уточнил время задержки.

— Может, день, может, два. Говорят, мост впереди обрушился.

Новость, видимо, уже обсуждалась, потому что никто из присутствовавших не выразил удивления. Только Тамара прибавила с затаенным торжеством:

— А я что говорила? Вот и случилось.

Купе проводников было закрыто — очевидно, они обсуждали новость где-то в другом вагоне. По коридору взад и вперед сновали незнакомые железнодорожники, отвечавшие на вопросы торопливо и коротко:

— Ничего не знаем, товарищи. Ничего неизвестно.

Впрочем, теперь уже все известно.

Жеребцов только что вернулся от станционной телеграфистки. Поезд действительно задержан. В трех километрах отсюда, где протекает речка Тихонька, идет срочный ремонт пути. Ночью река, оправдывающая свое название даже во время паводков, неожиданно вышла из берегов и размыва насыпь.

Жеребцов рассказывает об этом с азартом перовского охотника на привале, вдохновляемого вниманием слушателей.

— И речушка-то паршивая. А вот нагадила! Говорят, и верховьях все время идут дожди.

Все невольно обращают взоры к небу, низкому ветреному небу, на котором происходит нечто вроде свирепой гонки парусных яхт.

— Какой график горизонта вод? — спрашивает кто-то.

— А кто его знает?

— Грунты слабые. Торф да суглинки. Метра на три, поди, нет опоры.

— Часа два простоим? — слышится робкий голос.

— Верных пять.

— А что? Есть смысл посмотреть.

Съемочная группа вместе с Аллой отправляется на поиски взбунтовавшейся речки. Жеребцов присоединяется к ним — он уже вошел в роль бывшего человека. Платформа пустеет.

Я дохожу до ее конца. Единственная ступенька ее упирается в лесную тропинку, в двух шагах исчезающую в зарослях боярышника. В воздухе терпкий настой из облепихи, клейких листьев тополя и молодой хвои. Замшелые ели и лиственницы выстроились вокруг тесно и грозно, словно солдаты лесной охраны. Кого они охраняют? Два-три бурых станционных строения, пустую платформу или, может быть, наш поезд, сиротливо присмиривший от непривычной тишины и покоя?

В чистеньком буфете при станции есть только кипятков. Все запасы фруктовой воды и пива унесли на берег реки ремонтники. Чибис, наверное, уже с ними.

Тамары тоже нет — она ушла в лес за цветами с девушками из торфяного института, едущими куда-то на практику. Не видно и Жени. Мимоходом заглядываю в профессорское купе: Красовский тихо всхрапывает, прикрывшись от мух газетой, Сережа тоже спит или притворяется спящим — со вчерашнего вечера он явно меня избегает.

Сонная лесная тишина завораживает вагоны. Хочется спать.

Вдруг где-то в конце коридора раздается отчаянный женский крик.

Кричала Наталья.

Я догадался об этом еще до того, как добежал до ее купе. Из открытой двери навстречу мне вышел Матвей и остановился,



глядя на меня маленькими, глубоко запавшими глазами. Меня он не видел, да и вообще ничего не видел, вероятно даже не соображая, куда и зачем идет. Так мы и стояли друг против друга в узком коридоре, пока он не повернулся и не вышел из вагона, тихо прикрыв за собою дверь.

Из купе выглянула Женя. Лицо ее показалось мне мертвенно бледным, губы дрожали.

— Куда это он? — спросил я.

— Не знаю, — тихо, почти шепотом произнесла Женя. — Теперь он мешать не будет. Позовите профессора и Сережу. Мне кажется, она умирает.

Я оглянулся: Красовский и Ермаков уже стояли в коридоре, привлеченные криком.

— Сюда! Скорей! — позвал я.

Первым подбежал Ермаков. За ним степенно проследовал Красовский, спросив на ходу:

— Что такое?

Я молча кивнул на открытое купе. Наталья, скорчившись, лежала на лавке и тихо стонала. Женя пыталась повернуть ее на спину, подкладывая подушки.

— Погодите, — резко остановил ее профессор.

Он вошел и нагнулся над лежащей, взял двумя пальцами кисть руки у запястья, послушал пульс, заглянул ей в лицо. Теперь оно казалось землисто-серым.

— Что с вами? — спросил он.

— Болит, — простонала женщина.

— Где?

Слабым движением руки она коснулась живота.

— Давно?

— Сейчас только.

— А раньше болело?

— Нет. Ныло только.

— Я вторые сутки за ней наблюдаю, — вмешалась Женя. — Ее то подташнивает, то отпускает.

— Отпускает, — поморщился профессор. — Что за терминология, сестра! — Он что-то шепнул Сереже и снова нагнулся к больной. — Расстегните кофточку, откройте живот.

Наталья инстинктивно протянула руки, словно защищаясь от нападения.

— Нельзя... грех.

— Что?!

— Из сектантов она, — тихо пояснила Женя. — Грех это у них.

Красовский с любопытством взглянул на больную и брезгливо сморщился:

— Меня это не касается. Помогите ей.

— Не бойся, милая, — зашептала Женя, склонясь над выпрямившейся на лавке женщиной, — это тебе бог послал. И Матвей знает.

— Где он? — спросила больная.

— Молится. Ты не бойся, родная. Все хорошо будет.

Женя осторожно расстегнула ей юбку, приподняла рубашку. Я увидел неестественно посиневший взбухший живот и отвернулся.

— Как вы можете работать сестрой? — взорвался профессор. — У вас руки дрожат.

— Я боюсь за нее, — прошептала Женя, — очень боюсь.

— Отойдите.

Женя отступила к двери, заслонив от меня больную. Профессор опустил на одно колено, надавил Наталье на живот. Она вскрикнула.

— Больно? — спросил Красовский. — А так?

Она опять вскрикнула. Профессор обернулся к стоящему за ним Ермакову.

- Видишь?
- Вижу.
- Все симптомы. И пульс слабый, и конечности холодные.
- И нестерпимая боль, — сказал Ермаков.
- Думаешь, прободение?
- Вероятно.
- Что предлагаешь?
- Что же предлагать? — пожал плечами Ермаков. — Один

выход...

- Ну, говори, говори, — подбодрил его профессор.

Ермаков робко произнес длинное латинское слово.

— Правильно, — сказал профессор тоном удовлетворенного экзаменатора и встал. — Квод медикамента нон санат, феррум санат, — прибавил он и оглянулся на дверь.

Он словно почувствовал, что к открытой двери купе подошел проводник.

— Есть поблизости больница? — спросил у него Красовский.

— Нет, — сказал проводник и покачал головой. — Только когда переедем.

- Куда переедем?

— На ту сторону. За разлив. Да и оттуда километров тридцать будет.

— Все, — отрезал Красовский и вытер руки о пиджак. — В таких случаях, как говорится, медицина бессильна.

Он шагнул к выходу. Мы молча расступились перед ним. Меня поразило лицо следовавшего за ним Ермакова. Оно осунулось и потемнело.

- Что с ней, профессор? — спросил я.

— Прободная язва желудка. И в результате — перитонит, — он развел руками. — Очень грустно.

— Ничего нельзя сделать? — снова спросил я и прибавил, сознавая, что говорю глупость: — В поезде, кажется, есть аптечка.

— Аспирин, — усмехнулся профессор, — калыцекс. Когда вы научитесь чему-нибудь, товарищи литераторы?

Женя с побелевшими губами шагнула к нему:

— Она умрет?

— Увы, — вздохнул Красовский. — Нужна операция. Очень сложная. И немедленная, — подчеркнул он. — Так-то, милая девушка. Иначе... — Он обернулся к притихшей на лавке Наталье и прибавил вполголоса: — Как это у них называется? Отлетит душа в царство божие.

Меня покорила его невозмутимость. Как он мог говорить так в эту минуту! Я взглянул на Ермакова и снова поразился его виду: он странно сгорбился, втянул голову в плечи и ни на кого не смотрел.

— Сережа, — тихо позвала Женя.

Он обернулся.

— Вы можете сделать эту операцию?

— Как? — растерялся он. — Здесь? Сейчас?

— Да. Здесь и сейчас.

Он растерянно моргал глазами, все еще не понимая. За него ответил профессор:

— А чем, милая девушка? Перочинным ножом? Или швейными ножницами?

— У меня есть все для операции, — твердо произнесла Женя. — И хирургический инструментарий, и антисептика. Даже халаты есть.

— Где?

— Здесь, в купе.

Я не следил за другими, но думаю, все в этот момент посмотрели на Ермакова. Даже профессор взглянул на него во-

просительно. Но Ермаков стоял потупив глаза. Губы его слышно шевелились, словно он хотел что-то сказать и не мог.

Я наконец понял, что с ним. Он боялся. Видимо, это понял и профессор Красовский и поспешил прийти на помощь:

— Для операции требуется согласие больного или, в крайнем случае, его родственников. Вы, кажется, сказали, — обратился он к Жене — что они из сектантов?

— Я уговорю Матвея, — сказала Женя.

— Кого это? — скривился профессор.

— Ее муж. Он где-то здесь.

— Пока вы будете искать да уговаривать, Операция уже не понадобится. Не верите — спросите хирурга, — он обернулся к Ермакову: — Какой исход в случае промедления?

— Летальный, — едва слышно сказал Сережа.

— Вот видите, — фыркнул Красовский и пошел по коридору.

Никто из нас не произнес ни слова. Только проводник смущенно кашлянул и протянул:

— Да-а-а...

Ермаков, криво улыбаясь, все еще не решался последовать за профессором. Вероятно, он ждал от нас помощи — какой-нибудь ободряющей реплики, может быть даже упрека, какого-то слова, которое позволило бы ему оправдаться.

Но никто не помог ему. Да и можно ли было оправдаться?

Вероятно, каждому из нас хотелось сказать ему:

«Ермаков! Что вы медлите? Ведь она умирает. Слышите, Ермаков? У-ми-рает».

Ермаков все слышал. Когда он шел по коридору в свое купе, пошатываясь, хотя поезд стоял на месте, он несколько раз на какую-то долю секунды останавливался, упираясь пальцами в стенки. Мне показалось, что он прислушивается.

Я долго думал о том, почему у молодого врача не хватило профессионального мужества — а оно было у него: он доказал это. Но что побудило профессора поддержать в нем именно страх, а не мужество? Потом он ответил мне, когда я спросил его.

— То, что произошло, — чудо. А я не верил в чудеса.

— Теперь поверили?

— Настоящий талант — всегда чудо. Но я не верил в его талант.

А мы верили и отчаянно боролись за душу Сережи. Честнее сказать, мы шли за Женей. Она повела и выиграла эту борьбу.

Первый этап сражения был проигран: Ермаков ушел, так и не ответив на вопрос Жени. Помню, мы стояли молча, стараясь не глядеть друг на друга. Только щупленький проводник наш все время перебирал пальцами, машинально повторяя:

— Ах батюшки, что ж делать-то будем? Ай батюшки...

Женя слегка коснулась моей руки и почти беззвучно сказала — я скорее угадал, чем услышал:

— Пойдемте, Володя.

Я ни о чем не спросил. Мне словно переданся накал ее чувств. Любое ее пожелание, любой приказ я выполнил бы сейчас, не рассуждая.

Дверь профессорского купе была открыта. Ермаков сидел у входа, опустив голову. Вся его поза выражала страдание. Профессор у окна что-то искал в чемодане. При нашем появлении он даже не обернулся.

— Время идет, Сережа, — сказала Женя так просто и непринужденно, словно и вовсе не было предшествовавшей этому тягостной сцены, — распоряжайтесь. Я готова.

Ермаков вздрогнул и поднял голову.

— Я боюсь, Женя.

— Я знаю.

Он протянул руки.

— Видите, как дрожат.

— Это пройдет, Сережа. Обязательно пройдет — только заставьте себя успокоиться. Это всегда проходит — я видела.

— Вы спрашивали ее мужа? — обернулся профессор.

— Он согласится. Я знаю.

— Я бы предпочел услышать это от него самого.

— Зачем? — простодушно удивилась Женя. — Сережа и так поверит.

Красовский покраснел.

— Вы не понимаете... — начал он, но Ермаков перебил его:

— У меня нет опыта, Женя. Я еще не делал настоящих операций.

— Когда-нибудь же надо начать.

— Хотите совет? — опять вмешался Красовский. — Объявите по радио: может быть, в поезде найдется другой хирург.

— Едва ли. Все ушли к реке. Я, конечно, попробую, но пусть Сережа готовится.

— Чего вы добиваетесь? — вспыхнул профессор. — Чтобы она умерла под ножом? Чтобы его назвали убийцей?

— Я вас назову убийцей, — твердо сказала Женя. — Вас и его... если он опоздает.

Я взглянул на часы.

— Прошло уже шесть минут, Ермаков.

Он нерешительно поднялся и посмотрел на руки, словно хотел проверить, дрожат или нет.

— Обращаюсь к вашему благоразумию, — снова заговорил Красовский, демонстративно не глядя на Женю. — Речь идет о сложнейшей операции, трудной даже в госпитальных условиях. Вероятно, придется удалить часть желудка и соединить остаток с двенадцатиперстной кишкой — фактически сделать новый желудок. Ермаков даже не видел, как такую операцию делают.

— Я видел, Борис Львович. Не один раз видел, — перебил его Ермаков и встал.

Профессор молча взглянул на него, пожал плечами и отвернулся к окну.

— Тогда и говорить не о чем, — сказала Женя. — Володя, откройте большой чемодан — он на верхней полке, а ключик на веревочке у ручки — и отберите с Сережей все, что понадобится для операции. Простыни я возьму у проводника. Я думаю, — обернулась она к Ермакову, — ее лучше перенести на станцию. Сейчас в буфете никого нет. Там чисто и светло. Да и столики мраморные, можно кипятком ошпарить.

Послышались тяжелые шаги по коридору — к нам шел Матвей. В иссиня-черной бороде его торчали ключья лесной паутины и несколько зеленых травинок.

— Сестренка, — сказал он глухо, — поди к ней. Может, уже отходит.

## 5

Вспоминая потом об этой истории, я всегда поражался той легкости, с какой Женя покорила бородатого плотника. Мы все поняли это, когда он позвал ее в коридоре. Уже в самом его обращении к ней послышалось неожиданное. Не сестрой, как звали ее на работе, и даже не «сестрой во Христе», как величали девушек на его молитвенных сборищах, а сестренкой назвал он ее, словно нашел в ней что-то, мелькнувшее в душе сладким видением детства.

— Бред, — скривился профессор, когда мы остались втроем. — Средневековье. Чушь какая-то.

Мы промолчали.

— Ты все-таки решил? — спросил он Ермакова.

Тот кивнул:



— Да.

Красовский пожевал губами — видимо, ему нелегко было высказать это — и, не глядя на нас, предложил:

— Я могу помочь, если не возражаешь. Что смогу — то смогу.

— Конечно, Борис Львович, — просто сказал Ермаков. — Мне легче будет.

Что-то новое послышалось мне в его словах, точно произнес их не прежний почтительно послушный, почтительно безмолвствующий перед профессором Ермаков, а сознающий свое равенство и ничуть этому равенству не удивляющийся, уверенный в себе человек. Мне кажется, я нашел параллель ощущениям Ермакова. Так бывало перед первым боем на фронте, когда бьет тебя лихорадка страха, и ты тщетно пытаешься это скрыть, и с уважительной завистью взираешь на спокойно покуривающего старшину, но вдруг страх проходит, и в сердце нет уже ни уважения, ни зависти — только холодок упрямой решимости еще сковывает мысли и чувства.

В две минуты мы оккупировали станционный буфет и составили из находившихся здесь столиков два длинных стола — один для больной, другой для инструментов. Настольные каменные доски мы щедро облили кипятком и какой-то вонючей жидкостью из стеклянной бутылки, отчего в помещении запахло, как в больничной палате. Буфетчица, сбежавшая при нашем появлении, следила за этими манипуляциями в приоткрытую дверь. За ней алели огненная фуражка начальника станции и такие же клипсы в ушах телеграфистки. К счастью, до оставшихся в поезде пассажиров новость еще не дошла.

Я уже два раза сбегал к проводнику за простынями, разыскал носилки, оказавшиеся почему-то в пожарном сарае, и завербовал добровольных санитаров для переписки больной в нашу операционную. Наталья лежала, закрыв глаза, со скре-

щенными на груди руками, как покойница. Казалось, она уже ничего не чувствовала.

Ни Матвея, ни Жени на платформе не было. Я позвал их, но никто не откликнулся. Только из-за деревьев, вплотную подобранных к станционной пристройке, доносился чей-то негромкий голос. Я выглянул в окно нашей импровизированной операционной и увидел их обоих у штабеля старых шпал, сложенных прямо у стенки. В лесной тишине, не встревоженной посторонними шумами, было слышно каждое слово.

— ...не смотри, что я с нею крут на людях — так уж у нас ведется. А когда один — я мягче воска. Из-за нее и в секту вошел. До того ни в бога, ни в черта не верил, и как встрел ее — сломался. Еще злее спасаюсь. А все-таки скажу: уйду из секты, коли жива будет. Муку мученскую приму — только б жила...

— Будет жить — поверь.

— Это она тебе поверила.

— И ты поверь. Как ты говоришь — еще злее, да? Еще злее поверь!

Любопытно, что мы все поверили. Такая была в ней уверенность в счастливом исходе событий, такое побеждающее спокойствие, что последние сомнения таяли.

— Поспешим, Женья, — прикрикнул я на нее. — Надо морально поддержать Сережу. Не в себе человек. Бойтся.

— Он уже не боится.

— Все-таки первая операция.

— Я в него верю.

Ермаков мыл руки деловито, сосредоточенно, методично растирая каждый палец. Ничто не выдавало в нем того огромного напряжения, какое владело им в эту минуту. А ведь до операции оставались секунды. Даже профессор поглядывал на него с уважительным удивлением.

Солнце, прорвавшее на западе свинцовую завесу туч, заглянуло в окно, у которого мы поставили «наш импровизированный стол с инструментами. Желтоватая простынная бязь сверкнула вдруг морозным снегом. В блистающей стали отразились трепетные, сияющие миры. Не было в них ни сомнения, ни страха.

— Он согласился на операцию, — шепнула Женя Ермакову, завязывая у него на затылке тесемочки марлевой маски.

— А я и не сомневался, — сказал он.

Рассеянный взгляд его вдруг остановился на мне, словно спрашивая: а кто этот посторонний без халата? Я смутился.

— Простите. Я сейчас выйду. Понадоблюсь — позовите. Буду у двери.

— И никого не пускайте, — предупредила Женя.

Последнее, что я услышал, закрывая дверь, был тенорок Ермакова:

— Наркоз.

Я и не предполагал, что моя швейцарская должность причинит мне столько хлопот и волнений. Никакой вратарь не защищал своих ворот с такой стойкостью, какую показал я у буфетной двери. На платформе к этому времени уже скопилось десятка два пассажиров — кто вернулся из леса, кто встал после ленивого сна в опустевшем вагоне. Слух о происшествии на станции заставил их резко устремиться к буфету. Я не успевал отвечать на вопросы.

— Здесь операция?

— А кто оперирует?

— Говорят, серьезный случай?

— Очень серьезный. Отойдите, пожалуйста, — говорю я.

Кто-то восклицает рядом:

— В антисанитарных условиях! Это чудовищно.

— Граждане, — умоляю я, — неужели не ясно?

Никто не уходит. Я напряженно вслушиваюсь. Но дверь прикрыта плотно, ни одного звука не доносится из операционной.

Вперед пробивается Алла. Волосы ее украшает кокетливо наброшенный венок из крупных белых ромашек. В глазах отчаянное, на все готовое любопытство.

— Папа и Сережа там?

— Конечно.

— Я пройду, разрешите.

— Нельзя, Алла.

— Даже мне?

— Даже вам.

— Но почему? — удивляется Алла.

— А вас в больнице пускали в операционную?

— Так то в больнице. Я в сторонке постою. Можно?

— Нельзя.

Алла не возобновляет атаки. Поджав губы, она уступает поле сражения широкоплечему юноше в замшевой курточке. В руках у него съемочная камера.

— Я кинооператор, — он изящно подбрасывает камеру, — надеюсь, мне можно?

Я не отвечаю.

— Каждый культурный человек, знает, что такое киносъемка,

— Я некультурный.

— Это и видно.

Я молчу.

— А в сущности, кто вы такой? — наглет юноша, — У меня разрешение начальника дороги на все съемки в пределах полосы отчуждения.

— Я не подчинен начальнику дороги.

— Да я отшвырну вас, если не отойдете. Посторонитесь. — Он делает шаг вперед.

Я ниже его ростом и уже в плечах, однако пусть попробует. Кругом ухмыляются, но молчат. Неужели никто не вмешается? Я оглядываюсь и вижу раздвигающие людей широкие плечи, обтянутые белой холщовой рубахой с голубой вышивкой на груди, и неповторимый вихор Чибиса.

— Что за шум, а драки нет? — спрашивает он.

— Будет драка, — говорю я. — Убери-ка отсюда вон этого павлина, — и я указываю на своего противника.

Чибис бочком подходит к нему:

— По-русски понимаете? Или требуется дополнительный разговор?

— Хулиганы, — безгловито кривится юноша, но отступает.

— Стань-ка рядом, Ваня, — говорю я, — а то любопытных много.

— Слыхали, друзья-товарищи? — оглядывается Чибис. — Сеанс окончен.

Люди расходятся. Иван становится рядом со мной, не делая никаких попыток приоткрыть буфетную дверь. Проходит минута, две — мы молчим.

— Давно они там? — спрашивает он, указывая глазами на дверь.

— Около часа.

— И Женька с ними?

— Конечно.

Чибис угрюмо затягивается и сплевывает окуроч.

— Зря. Все одно помрет.

Отвечать на это бессмысленно, и я молчу.

— Если жива будет, — задумчиво продолжает он, — значит, его козырь.

— Чей козырь? Ты о чем?

— Так. Проехало.

Его явно мучает какая-то мысль, с трудом пробивающаяся из недомолвок.

— У нас тоже был один такой тихий. Молчал, молчал да и высказался. Интеллигент!

Я опять не понимаю.

— Кто — я?

— Не о тебе речь.

— Не люблю ребусов, — говорю я.

Он молча закуривает, прикрывая спичку от ветра, и цедит сквозь зубы:

— Только дешево ее не отдам. Вот так.

Я, кажется, понимаю, в чем дело. Но не успеваю ответить. Дверь за нами распахивается, и на пороге появляется Женя. Марлевая косынка, халат и лицо ее одинаково белы. И чуть-чуть поблескивают на лбу кропотные бисеринки пота.

Она вздыхает, нет — глотает воздух, как астматичка, и произносит чуть слышно:

— Все. Будет жить.

## 6

Мы опять в пути.

Четыре часа мы простояли на станции, чтобы медленно пересечь по восстановленной насыпи левитановскую лесную Венецию. Почти театральным видением промелькнула картина затопленного леса, сказочных елей, положивших на воду широкие игольчатые лапы, фантастически укороченного водой осинника, странного вида кустов, похожих на плывущие по воде островки. Спектакль продолжался шесть или семь минут. Все толпились у вагонных окон, забыв все, о чем шумели на станции.

Жизнь на колесах вступила в свои права: с каждым открывавшимся впереди километром забывался километр, оставшийся позади.

Все как будто по-прежнему в нашем вагоне. Гремят стаканы в металлических подстаканниках, стучат костяшки домино, кто-то храпит, в крайнем купе азартно играют в очко, в открытые окна летит неизвестно откуда возникшая в лесу пыль, похожая на пух отцветающих одуванчиков. Но тем отчетливее сквозь эту внешнюю неизменность жизни видишь то, что в ней изменилось. Новый Ермаков, так удививший меня и профессора, вышел из операционной еще более непохожим на того робкого, застенчивого Сережу, каким мы знали его до сегодняшнего утра. Помню, как остановилась в недоумении Алла, бежавшая к нему по платформе. Он выглядел постаревшим на десять лет, очень уставшим и глубоко равнодушным к тому эффекту, какой вызвало его появление. Он шел в белом халате и белой шапочке, так и не сняв ее после операции, шел, опустив голову, никого не видя, не заметив даже Аллы, остановившейся в двух шагах. Люди молча расступались, давая ему дорогу. Только когда назойливый юноша с кинокамерой преградил ему вход в вагон, Ермаков задержался, вопросительно взглянув на него. Юноша с кинокамерой светски сказал:

— Минутку, профессор.

— Я не профессор, — тихо сказал Ермаков.

— Я вас только что снял для кинохроники, — продолжал юноша, не обратив внимания на реплику Ермакова.

Тот сухо пожал плечами: дело ваше, мол, но меня лично это не очень интересует.

— Вопрос для дикторского текста. В двух словах, если можно. В чем суть операции?

— Суть операции, — рассеянно повторил Ермаков и улыбнулся: — В образовании соустья между желудком и петлей тонких кишок. Понятно?

— Не совсем.

— Я плохой популяризатор. Извините, — Ермаков шагнул на ступеньку, слегка отстраняя юношу.

Его я больше не видел до того, как отправили поезд. Зайти к нему в купе я не рискнул — после нашего столкновения на платформе Алла со мной не разговаривала. С Женей тоже не удалось перемолвиться — она перебралась к Наталье и не отходила от нее ни на минуту. Матвей безропотно выселился в другой вагон, а Чибис перенес свой чемодан к нам с Томкой. Но и он куда-то исчез — вероятно, присоединился к игравшим в карты.

Ермаков появился в коридоре, когда мы уже проехали затопленную падь. Он стоял у окна, что-то выглядывая в сумраке чернолесья. О трудном раздумье его я догадался по неподвижно повисшей руке. Потухающая сигарета была зажата между пальцами — Ермаков забыл о ней.

Послышалось дребезжание отодвинутой двери, и голос профессора спросил:

— Обедать пойдешь?

— Не хочется, Борис Львович.

— А я думал — отметим твою удачу.

— Не хочется, Борис Львович.

— Ну, как знаешь.

Я услышал шарканье туфель профессора и шелест шелкового халата Аллы. Скрипнула входная дверь вагона — Ермаков не двинулся с места. Потом дверь скрипнула опять, и шелест шелка обернулся негромким шепотом Аллы:

— На что злишься, Сергей?

— Я не злюсь.



— Будто я не вижу. Ну, перенервничал, я понимаю. Но зачем же папу обижать? Вы поссорились?

— Нет, конечно.

— Не ври.

— Я не вру.

— Рассказывай. Тебя точно подменили после операции.

— До операции.

— Что до операции?

— Подменили.

— Псих!

Громко, гневно ухает входная дверь.

Поездной тишины не бывает. Всегда что-то стучит, дрожит, звенит, поскрипывает. Но сейчас в эту привычную мелодию врываются посторонние шумы. Кто-то, видимо Ермаков, стучит костяшками пальцев по стеклу. Потом в другом конце вагона дребезжат шарниры отодвигаемой двери — кто-то выходит в коридор. Я едва успеваю заметить мелькнувший мимо силуэт Матвея.

— Спасибо тебе, доктор, — слышу я, — а уж кого за тебя благодарить, и не знаю. Может, бога, может, нет...

— Зайцеву благодари, Матвей. Счастливый ты человек, что ее встретил.

— Да ведь и ты счастливый, доктор.

Они понимают друг друга, а я ничего не понимаю. И не решаюсь спросить.

Жеребцов оказывается менее деликатным. Возвращаясь из вагона-ресторана, он не упускает возможности поговорить. Я слышу выжидающий кашель и заискивающий вздох.

— Отдыхаете, доктор?

— Простите, что вы сказали?

Знакомая вежливая интонация Сережи и смешок Жеребцова.

— Ничего я не сказал. Так, для затравки разговора. Поговорить охота.

Молчание,

— Вот вы замечательную операцию сделали, — не смущаясь, продолжает Жеребцов, — можно сказать, руки у вас приспособленные. Особый талант. А вот от проводника мы слышали, что поначалу вы резать отказывались. Страшно было?

— Было.

Ермаков признается в самом сокровенном публично. Значит, он все уже осмыслил и оценил. Я прислушиваюсь.

— В себя не верили?

— Не верил.

— А потом поверили? И позвольте вас спросить — почему?

Ермаков не отвечает. Но Жеребцову и не нужен ответ. Он спрашивает чисто риторически.

— А вот почему. Был у меня один случай... Вы не думайте, глупого не расскажу, зря докучать не буду.

Работал я тогда в одной строительной организации. Подале отсюда — на Урале. Мосток мы строили, не длинный — в три пролета, а высоченный, над ущельем. Глянешь сверху — дух отнимается. И работал у нас сменный инженер один — не помню фамилии — все Петушком его звали. Очень высоты боялся, даже по настилу все на карачках ползал. И смеялись над ним, и учили его — не помогает. Только как-то сорвался один монтажник сверху, да не убился, а зацепился и повис, когда никого кругом не было. Один Петушок стоял на контрольной площадке. Парня вытащить — раз плюнуть, только руку протянуть, а дойти до него — метра три по балочке. Петушок глянул, дохнул разок, будто нырять собрался, и шажком по этой балочке —

не держась. И дошел, и парня вытянул, только назад не смог. Опять на карачках пополз.

Я слышу, как смеется Ермаков.

— А у меня по аналогии? Первая операция — шажком, вторая — на карачках?

— Да вы погодите, — властно перебивает Жеребцов, — я ведь не кончил. Только у этого монтажника был с Петушком разговор. Какой — не знаю, а был: до закрытия в столовке вдвоем просидели. С тех пор Петушка точно подменили...

— Подменили? — неожиданно переспрашивает Ермаков.

— Именно. Был страх и пропал. По самым верхам потом с монтажниками лазил.

— Подменили, — опять повторяет Ермаков.

Я уже понимаю, что он не слушает Жеребцова.

— Вот мы и подходим к вашему случаю. Он очень похож, представьте себе. Так, походя взглянуть, — никудышная девчонка...

— Кто? — резко спрашивает Ермаков.

— Я о Женьке...

— Не надо! — Сережа повышает голос.

— Так я ж не плохое... — не понимает Жеребцов.

— Все равно. Да и обо мне довольно. Простите, пожалуйста.

Я слышу поспешное дребезжание двери. Потом — разочарованный вздох Жеребцова. Кажется, он возвращается в вагон-ресторан.

Становится светлее. Лес отступает к горизонту, оголяя бурые крыши поселка. Медленно плывут огороды, пятнистые от голой, еще не везде зазеленевшей земли. Мелькнула дорога, перерезанная шлагбаумом. Поезд замедляет ход — приближается станция.

В купе заглядывает Тамара. Носик разочарованно морщится.

- Никого нет?
- А я не гожусь?
- Смеетесь.

Она входит и садится против меня, поправляя платице.

— Не знаете, какая станция? Говорят, вашу резаную отсюда в больницу повезут. Есть где-то больница поблизости.

Вспомнив что-то, Тамара фыркает, закрывая рот.

— И бородатый идол сойдет. Из секты выходит — смех! И крест, говорит, выкину, и пилу сломаю.

Мне смешно.

— За что же пилу ломать?

— Как — за что? Она в секте дадена. От государства заговоренная. Не может с ней на стройках работать — только шабашником.

— Как не стыдно в такую чушь верить, — говорю я. — А еще комсомолка.

— Да я и не верю. Люди врут, и я вру, — она опять фыркнула. — А святая-то наша! Каких мухоморов из секты увела. Нечего сказать — народу подарочек.

Я слышу в тоне ее злую насмешку. За что? Объяснение приходит немедленно:

- Зря вы перед ней ахаете. Подале от нее нужно.
- Это почему?
- Психованная.

Куда девались застенчивость и тихость Тамары? Глаза сверкают настороженно и зло.

- В тягость такие людям. Только мужиков приманивает.
- Кого? — удивляюсь я.
- А вас, к примеру. Приманула? Приманула. Я давно смотрю, как вы к ней подлаживаетесь.
- Выдумываешь все, Томка.

— Ничего я не выдумываю. Ванька совсем голову потерял. К ней на рудник собирается. А что он там делать будет?

Я отвечаю словами Чибиса:

— Везде сейчас строят.

— Везде! — передразнивает она. — А из чего строят? Из со-сны, что ли? Откуда они кирпич возьмут? А он каменщик чет-вертого разряда. Только квалификацию потеряет. И мне без него несподручно — мы ведь вдвоем работаем: он на кладке, я на подсобке. Ну, кирпич подаю, раствор перелопачиваю. Только год как и выучилась. Что ж, все забыть, значит? — Она дове-рительно нагибается ко мне: — Хоть бы вы с ним поговорили — может, одумается.

— Чужому сердцу не прикажешь, Тамара.

— А своему прикажешь? У меня оно кровью обливается — на них смотреть!

— Что ж поделаешь, — говорю я, — права у сестры неболь-шие.

— А я сестра? Это он считает, а я его тетки дочка приемная. Приемная — не родная...

На глазах у нее выступают слезы. Она вытирает их по-детски, кулачком, отвернувшись к окну. За окном медленно выплывает приземистое здание станции, вытягиваясь вдоль платформы. Громяхают тормоза.

— Сейчас резаную выносить будут, — оживляется Тама-ра. — Пойдем поглядим.

Слезы у нее уже высохли.

## 7

На станции Наталью ожидала уже вызванная из больницы машина. Прощаясь, больная вдруг перекрестила Женю еще не-ловкой, дрожащей рукой. Девушка невольно отстранилась.

— Не сердись — не умею благодарить по-другому, — сказала Наталья и улыбнулась. Странная то была улыбка, не то радостная, не то виноватая, словно стеснялась женщина неподобающей радости своей. — Грешница я. Думала, легко умирать буду — ведь к богу шла, ну а случилось все по-другому. Грех приняла — в грехе и доживать, видно. Прощай, доченька.

Мы уехали раньше нее и успели еще увидеть Матвея, выбежавшего на платформу проводить наш поезд. Закатное солнце светило ему прямо в глаза, а он все смотрел нам вслед, не прикрывая глаз рукой. Бородатый, растрепанный, чего-то не договоривший. А ведь много может сказать человек, только что начавший другую жизнь.

А сейчас еще один человек начал другую жизнь. И вот как это произошло.

В купе ко мне заглянул Чибис. Мне бросился в глаза порванный ворот рубахи и болтавшийся на боку галстук.

— Что с тобой?

— Разговор есть.

— Садись.

— Не здесь, — скривился он, — я еще за ужин не рассчитался. И она там. Пошли.

Я догадался. Чибис разыгрывал свой последний кон с Женей. Или проиграл, или боялся проиграть.

Женя ждала нас в уголке вагона-ресторана, с аппетитом доедая мороженое.

— Конечно, — озлился Чибис, — у человека сердце скрипит, а ей сладко. Соси-посасывай.

Женя подвинула ко мне полную вазочку с мороженым.

— Хотите, Володя? Я уже вторую порцию ем.

— За чужую совесть хлопочет, а свою не спрашивает. Почему водку убрали? — закричал Чибис.

— Они потребовали, — огрызнулась официантка, кивнув на Женю.

Чибис нахмурился, но промолчал.

— Да что случилось у вас, ребята? — спросил я.

— Еще одному голову закрутила, а теперь от семьи отрывает, — зло сказал Чибис.

Женя даже не взглянула на него.

— Все неправда, Володя, кроме одного. Я точно уговорила Сережу к нам ехать. Нам хирург давно нужен — вы знаете.

В первый момент я не понял.

— Кого уговорили?

— Сережу. Кого еще? Ермакова.

— Куда?

— К нам. В Котлумань.

— С Аллой?

— Нужна ей Алла! — скривился Чибис.

— А мне все равно, — улыбнулась Женя, — захочет — поедет. Квартиру дадут. У нас дом для специалистов выстроили — штукатурят уже. Приедем — квартиры распределять будут.

— Вы и квартиры распределяете? — пошутил я.

Она не поняла шутки.

— Зачем я? Не я. Комиссия распределяет. Так разве хирургу откажут? Сказать смешно.

Я вдруг представил себе Сережу, обсуждающего эту квартирную проблему с профессором, и внутренне содрогнулся. Женя, видимо, меня поняла.

— Думаете, отговорят? Нет, Сережу теперь никто не отговорит.

— Ну, а я как же? — спросил притихший Чибис. — Все шуточки?

— Какие шуточки, чужак? — засмеялась Женя.

— Сама знаешь, какие. Я без трепотни сказал: приедем — распишемся.

— Чудак, — повторила Женя.

— Я ее толком спрашивал, — обернулся ко мне Чибис, — нравлось? Нравишься. Так и сказала.

— Ну и сказала. Только не так, чтобы замуж выходить. Хочешь приехать — приезжай. Правда, насчет каменщиков не знаю. У нас бетонщики требуются.

— Освою, — мрачно сказал Чибис. — Только зачем приезжать, спрашивается. За смешками?

— Не смейся — и смеяться не будут, — отмахнулась Женя равнодушно, как от мухи. — А вы к нам не хотите, Володя? — вдруг спросила она совершенно серьезно.

Я даже не нашелся, что ответить. Если бы она шутила, но она не шутила.

— У нас и районная газета есть.

В устремленных на меня синих глазах я прочел сказку о молодости, о чистоте, о безоблачном небе над человеком. Еще минута, и я бы согласился.

Но в эту минуту я встал.

— Пожалуй, мне надо поговорить с Сережей, — сказал я.

Тогда никому не показалось странным, да я и сам не размышлял об этом — зачем мне понадобилось говорить с Ермаковым. Хотел ли я помочь ему укрепиться в его решении, рассеять, может быть, возникшие у него сомнения? Но Женя мне сказала, что в этом нет никакой нужды. Может быть, в глубине души мне, как и Чибису, не нравилось начинавшееся сближение Сережи с Женей и я невольно разделял настроения Красовских? Честно отвечу: нет. Вероятнее всего, мне просто хотелось понять Ермакова: что побудило его вдруг так изменить давно обдуманную программу жизни? Но знал ли он сам об этом?



Судьба предоставила ему одну из главных ролей в пьесе, которая разыгрывалась на наших глазах без заранее написанного текста. А жизнь — самый скрытный режиссер на свете, и даже действующие лица не всегда могут сказать точно, почему они поступают именно так, а не иначе.

Вот и я не могу сказать точно, что побудило меня приоткрыть дверь купе Красовских и вмешаться в события, меня не касавшиеся. Помню заплаканные глаза Аллы и ее обращенный на меня ненавидящий взгляд. Я было отшатнулся и хотел уже закрыть дверь, но Алла уже успела сказать с нескрываемой злобой:

— Вот еще один из ее покровителей. Скажем ему спасибо.

— Алла, — поморщился профессор. Она демонстративно отвернулась к окну.

— Садитесь, — сказал Красовский, — и не обижайтесь на Аллу. В ее положении это естественно. И раз вы уже в курсе, присоединяйтесь к разговору. Все равно.

— Я все еще не решался воспользоваться приглашением и безмолвно стоял в дверях. Ермаков сидел, опустив голову, и не обращал на меня никакого внимания. Он думал.

— Садитесь же, — нетерпеливо дернулась Алла. — Папа прав, стесняться нечего. Сами небось уговаривали.

— Никто меня не уговаривал, — поднял голову Ермаков. Слова его прозвучали устало и равнодушно.

— Попробуйте понять, — сказал профессор, — чего добивается этот юноша. Все есть у него: молодость, талант, любимая невеста, карьера, — впрочем, теперь не любят этого слова, скажем иначе — возможности роста, материальное благополучие, работа, о которой его коллеги могут только мечтать, сотрудничество с лучшими хирургами столицы, жизнь в Москве, наконец... И вот гляньте на этого человека — выплевывает все это в окно и лезет с головой в омут!

— В омут, — усмехнулся Ермаков, — любите вы высокий штиль, Борис Львович.

— Конечно, в омут. — Глаза у Красовского заблестели от возбуждения, он уже воображал себя на кафедре. — Именно омут. Даже хуже — дыра, болото, медвежий угол. Больница без медикаментов, библиотека без книг! Ничему не научишься, все, что знал, забудешь. И в конце концов сопьешься, как какой-нибудь чеховский фельдшер.

— У вас несколько старомодные представления о периферии, профессор, — вставил я слово.

Он продолжал, явно игнорируя мою реплику:

— А вы слышали его аргументацию? В устах земского врача конца прошлого века это еще понятно...

— И сейчас понятно, — тихо перебил Ермаков.

— Газетным попугаем, — подсказала Алла, недвусмысленно посмотрев на меня. — Вопросик на комиссии по распределению: а где вы полезнее, товарищ?

— За один только год, слышишь? — встрепенулся профессор, принимая эстафету от Аллы. — За один только год в клинических условиях ты станешь полезнее людям, чем за десять лет в своей паршивой больнице.

Ермаков устало вздохнул.

— Мы с вами, Борис Львович, очевидно, вкладываем разный смысл в понятие полезного, — сказал он.

Если бы Красовский понимал его состояние, он бы не продолжал этот явно не нужный никому разговор, но Борис Львович уже не мог закруглиться — он слушал только себя.

— И в довершение всего бросаешь любящего и любимого человека! Где же слово твое, честь, верность?

— Я никого не бросаю, — угрюмо возразил Ермаков. — Алла может ехать со мной.

— Интересно, — насмешливо откликнулась Алла, — а какую, собственно, роль ты уготовил мне в этой робинзонаде? Санитарки? Или домашней работницы? У самовара я и моя Маша... Нет, милый, мне это не подходит.

— Тогда во имя чего... — начал было профессор, но Алла тут же его перебила:

— Дурак ты, папка. Шерше ля фам.

— Володя, — сказал Ермаков, подымаясь, — мне душно здесь. Выйдем.

Мы стали у окна в коридоре и закурили. Я заметил, что у Сережи дрожат пальцы, как утром перед операцией.

— Робинзонада, — с горечью повторил он, — так иногда сразу раскрывается человек.

Я осторожно промолчал.

— Вы, наверное, тоже любопытствуете, что это, мол, с Ермаковым случилось? Борис Львович, можно сказать, только что начертал идеальную прямую моей карьеры. Так и сказал: карьера — не случайно обмолвился. А у меня вдруг вместо прямой — зигзаг... Болото, омут. А ведь, в сущности, все очень просто...

Сдержанный, привыкший молчать, Ермаков уже не сдерживался. Горечь пережитой обиды только подхлестывала потребность выговориться, долго и трудно назревавшую в нем. Гладкая, лаконичная речь его словно вздрагивала, ломалась, растягивалась повторами, которых никто из нас не замечал, и снова спешила за убегающей мыслью.

— Знаете, что для меня заманчивее всего в жизни? И раньше и теперь... Самостоятельность! Я всегда мечтал о ней, и всегда во мне ее подавляли. В детстве маменькиным сынком рос, таким мальчиком-паем, в отрочестве старшие братья командовали, в институтские годы — друзья побойчее. Даже девушек не я

выбирал, а они меня выбирали. Чудно, честное слово, а ведь именно так: выбирали, и все тут! Вот и Алла выбрала меня на институтском балу, и с отцом познакомила, и в больницу к нему ехать уговорила... Профессор как вскинул бровь при нашем знакомстве, кашлянул и вдруг улыбнулся этакой отеческой, все понимающей улыбкой: в рыцари, мол, не в рыцари, а в пажи посвятить можно. И посвятили.

— А вы? — поинтересовался я. — Голова, что ли, закружилась от счастья?

— Какое там счастье, — махнул он рукой, — я только мечтал о нем. Делал в мечтах фантастические операции, ох как делал! А в действительности... Вы знаете, как часто бывает в действительности? Посадят тебя на амбулаторный прием — вправляй вывихи, смазывай йодом царапины. И смазывал, что ж поделаешь, — вздохнул он. — Так бы и вышел из меня в конце концов дельный помощник, хороший ассистент, послушный исполнитель. А дома — муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей. Вы видели Аллу — ей другой и не нужен.

Ермаков затаился, помолчал, пуская колечки дыма, и, словно боясь, что его перебьют, уведут от мыслей, выстрадаанных, но все еще мучительных, продолжал торопливо и беспокойно:

— И вдруг эта тягостная история в поезде! Вы понимаете мое состояние. Такой, каким меня все видели, не имел права делать эту операцию, да и не смог бы ее сделать. Но ведь я не был таким. Только кто-нибудь должен был разглядеть во мне этого человека, поверить в него, поддержать. Одна Женя сумела это. Она ведь поверила в меня так искренне, что я, болезненно мнительный, как все люди с подавленным самолюбием, не почувствовал ни малейшей фальши. Такая вера окрылит любого врача, даже самого неуверенного и робкого. Я буквально физически ощущал эту веру во время операции. И кто знает, выжила

бы у меня под ножом эта женщина, если бы Жени не было рядом.

— А почему вы так сразу и резко изменили свое отношение к профессору? — спросил я. — Это даже со стороны было видно.

— Не знаю. Все вышло как-то произвольно. Конечно, я был несправедлив к нему. Вполне естественно, что он не верил в меня, сомневался и даже, может быть, по доброте душевной просто хотел уберечь меня от травмы. Ведь первая неудачная операция — а эта вообще была первой — самая тяжелая травма для молодого хирурга. Но я не владел собой. Вероятно, взбунтовалось вечно подавляемое самолюбие, вот и прорвалось раздражение, а возможно, и что-то другое. Ведь полчаса назад мне казалось, что я его ненавижу. И зря, конечно: не за что его ненавидеть. Просто обидно, что не может тебя понять человек. Ни он, ни Алла. Но почему же поняла Женя? Вы знаете, что она сказала мне сегодня, когда я перед нею всю жизнь мою выложил? «Вам, Сережа, незачем ехать в Москву, там вы на костылях ходить будете. А попробуйте-ка без костылей, своими ножками. И в вас поверят, и вы сами в себя поверите». Видите — поверил, — застенчиво улыбнулся он и прибавил: — А то, что Алла говорит, что я и Женя... все это вздор, не думайте...

Он с удивлением взглянул на давно потухшую сигарету, резко швырнул ее в окно и задумался. Словно тень пробежала по лицу его, а может быть, то была действительно тень — печать нависших над лесом сумерек.

— Я вам очень завидую, Сережа, — вздохнул я.

Меня будит стук чемодана. Совершенно не помню, когда я заснул, вернее, забылся, погрузившись в одуряющую, бездумную тьму. Сейчас ее подсвечивают сизые блики рассвета. Они

медленно расползаются по стенам и полкам купе. Откуда-то сверху доносится мерный храп Жеребцова. Поезд стоит.

Мимо меня протискивается Чибис с большим чемоданом. Я вскакиваю:

- Приехали?
- Ты бы еще поспал. Последний чемодан выношу.
- Почему же не разбудил?
- Женька не велела. Сама хотела прийти попрощаться.
- А где она?
- На платформе. Пошли.
- А Ермаков?

Чибис хмурится и, пройдя в коридор, бросает на ходу:

- Где же еще? Там.

Ермаков всю ночь просидел у нас, ни разу не заглянул в купе Красовских. Оттуда тоже никто не выходил. Я оглядываюсь на их закрытую дверь: неужели и сейчас не выйдут? В коридоре пусто. Только темная фигурка прижалась к окну у двери в тамбур. В мокром пальто и платочке, похожая на прибитую дождем скворчиху, — Тамара.

- Ты кого ждешь?
- Ваню.
- Да он только что прошел.
- Знаю. Дождь идет.
- Зря с ним едешь, Томка. Пора на своих ножках топать. —

Я невольно цитирую Женю.

— Что вы? Куда ж он без меня — ни постирать, ни сготовить.

- Там небось столовка есть.

— Какая столовка в дремучем лесу. Баба-яга там. А вы знаете... — Она придвигается ко мне и шепчет: — Не любит она его и замуж не хочет. Сам сказал.

Я вздохнул — как мало иногда нужно человеку. Тамара идет вперед — в дождь, в неизвестность, цепляясь за свою крохотную туманную надежду. А может быть, веру? Ведь говорили же когда-то: вера горами двигает. Кто знает, а вдруг и Томка сдвинет свою гору — счастье.

Дождь и в самом деле сильный. Мелкий, но плотный и косящий, секущий с обидным для весны постоянством. В первый момент я ничего не вижу, потом чья-то рука толкает меня под навес.

Это Сережа:

— Мы вас давно ждем.

Я не успеваю ответить, как Чибис мягко отстраняет его:

— Прощай, Володька. Сейчас к шоферам побегу договариваться — они вон цемент грузят, — он ткнул рукой в дождливую муть, но я по-прежнему ничего не вижу. — Может, и не встретимся боле, а? — Молчим оба. Мужская сердечность немногословна. — Писать не буду, не жди. Не люблю этого. А поинтересуешься — Женьке царапни. Адрес знаешь?

— Знаю.

Он сильным рывком жмет мне руку и исчезает за сеткой дождя. Впереди в тумане сигналил наш тепловоз. Сейчас грохнувшись вагоны.

— А меня вы уже забыли, Володя?

Женино лицо совсем близко, я вижу одни глаза, большие черные зрачки, отражающие слабое мерцанье утра.

— Разве вас забудешь?

— Все шутите.

— Я не шучу, Женечка. Если б только я мог остановить время...

— Мне ужасно жалко, Володя, что мы расстаемся. Даже не думала, что будет так жалко.

Вместо ответа я вдруг притягиваю Женю к себе и неловко целую куда попало — в глаза, щеки. Они мокрые почему-то — от слез или от дождя?

Позади со скрежетом срываются с мест вагоны. Женя отстраняется:

— Бегите, Володя.

— Я остаюсь.

— Не дурите. Скорее!

— Я остаюсь.

Я готов кричать об этом, чтобы слышали все в этой дождливой пустыне. Скрип вагонов позади переходит в шуршание — они движутся все быстрее.

Женя подталкивает меня к ним с неожиданной для нее силой:

— Да бегите же!

Я и бегу под дождем, цепляюсь за что-то ногой и чуть не падаю, почти касаясь пальцами мокрого, уползающего железа. Сзади раздается испуганный крик, но я уже вскакиваю на подножку вагона, прогибаясь под яростно секущими струями. Надо мной щелкает замок: это проводник открывает уже запертую дверь. Сейчас он прочтет мне нотацию. Пусть, я и без этого себя презираю.

А сквозь дождь слабо доносится:

— Приезжайте!

Но я уже никого не вижу.

## 8

Еще одно утро, третье утро в пути.

От нависшего за окном ненастного неба голубой линкруст на стенках кажется серым. Голые, пыльные полки — с них уже убрали тюфяки и белье — превращают купе в казарму. В до-



вершение всего Жеребцов вывалил на коврик под ногами пепельницу, полную окурков и пепла. Следовало бы встать и уйти, но я не встаю и не ухожу. Мне все равно.

Жеребцов нудно укладывает в чемодан вещи, вынутые из него в начале пути, — полотенце, мыло, бритвенный прибор, коробочку с солью. Только что он смущенно предупредил меня, что перебирается в другой вагон.

— Земляков нашел. Хороший народ.

Пусть перебирается. Мне все равно.

Полчаса назад у меня был разговор с Красовским. Мы столкнулись в коридоре — он стоял у окна, растрепанный, грузный, еще более бесформенный в полосатой обвисшей пижаме.

— Все торопитесь, молодой человек.

— Некуда нам с вами торопиться, профессор.

— Некуда, верно, — вздохнул он. — Вот и постоит со стариком.

Он подвинулся, отрезая мне отступление.

— Теперь не уйдете. Аллочка задремала, — прибавил он шепотом, — не хочу ее беспокоить. Всю ночь не спала, плакала. А сейчас выходить не хочет — глаза распухли, стыдится.

Я сочувственно улыбнулся — сказать мне нечего.

— Все думаю о нашем несчастье, — с виноватой улыбкой продолжал Красовский, — и ни до чего не додумался. Ведь он любил ее, определенно любил. Я все-таки жизнь видел, понимаю, когда любят, когда нет. Неужели притворялся?

— Такие не притворяются, — сказал я.

— Такие! — зло повторил профессор. — Честные, вы хотите сказать. Так как же он мог ее бросить? И сразу, вдруг?

— Всегда бросают вдруг, профессор. Только, по-моему, этого не было. Она ведь могла ехать с ним.

— Аллочка? В Котлумань? Смешно.

Я пожал плечами — действительно смешно. И, как всегда в таких случаях, — грустно.

— И вы считаете его героем? — Он по-прежнему ничего не понимает. От старости? Но он совсем не стар. От глухоты души? — Значит, герой?

— Над кем смеетесь, профессор?

— Я не смеюсь. Но вам, литераторам, такие поступки, наверное, представляются в героическом ореоле. Ведь так?

— Не так.

— Тогда я не понимаю вас. Неужели вы считаете поступок Сергея разумным?

— Вполне.

Он странно посмотрел на меня, словно я сморозил несусветную дичь.

— Не ослышались? — переспросил он. — Разумным, да? Не жестоким, не издевательским, а именно разумным?

— Конечно. Ему надоело ходить на костылях.

— На костылях? — Он поморгал глазами — видимо, не понял. — Вы имеете в виду... — Красовский не закончил фразы и сердито воскликнул: — Чепуха! Конечно, между нами назревал конфликт — я проглядел его. Но в чем, в чем? Может быть, это конфликт возраста, вечная проблема отцов и детей? — Он взял меня за пуговицу и, заглядывая в глаза, спросил: — А может быть, просто влюбился? Бывают ведь такие казусы.

— Не было такого казуса.

— Ой ли? — Он подмигнул мне. — Есть шарм у девочки.

Еще слово, и я сказал бы все, что о нем думаю. Вероятно, это было бы радикальнее, но вместо того я буркнул, не глядя:

— Виноват, профессор. Я, кажется, забыл блокнот. Простите.

С этими словами я скрылся в купе.

Жеребцов только что позавтракал и стряхивает с чемодана крошки хлеба.

— Может, коньячку выпьем?

— Не хочется.

Он кладет широкие, как лопаты, ладони на вздувшиеся на коленях штаны и долго рассматривает меня в упор.

— Расстраиваетесь? — сочувственно спрашивает он. — Понятно, между прочим. Жаль, когда с такой девкой пути расходятся. Небось хотелось бы рядом идти.

А вот худому человеку это непереносно. Мне, например.

— Наговариваете на себя, Жеребцов. Зачем?

— На хорошее посмотришь — худое всегда виднее. Только не думайте, что вы ее родили — комсомол да фабрика. Такие исстари на Руси не переводились. Вы в святцы загляните — скажете, опиум? Нет, жизнь. Кто за правду болел, того в народе часто святым почитали. А церковь что? Церковь только народную память собрала, да не особенно ее жаловала. У нас в деревне — я еще мальчонкой был — одну такую наши бабочки до смерти забили — поп, говорят, навел. Тоже за правду, между прочим.

Жеребцов всегда начинает издалека и долго блуждает вокруг какой-нибудь цепко ухваченной мысли. Вот и сейчас он, заплутав, что-то обдумывает, тяжело подбираясь к выводу.

— Родили — не родили, конечно, а руку приложили. Я в смысле комсомола говорю, — заканчивает он. — Таких теперь много. Еще при Николае Первом они больше в монастырь шли, но уже при Николашке Втором — в революцию. Ну а теперь — их время. — Он подымается. — Не серчайте, что нагрязнил тут. Сейчас проводника кликну.

Пока проводник, ворча, убирает купе, я ожидаю в коридоре у двери.

— Знакомая ваша? — спрашивает он, постучав по нижней полке, на которой спала Женя, и для верности уточняя: — Которая ночью сошла.

— Вместе ехали, — неопределенно говорю я.

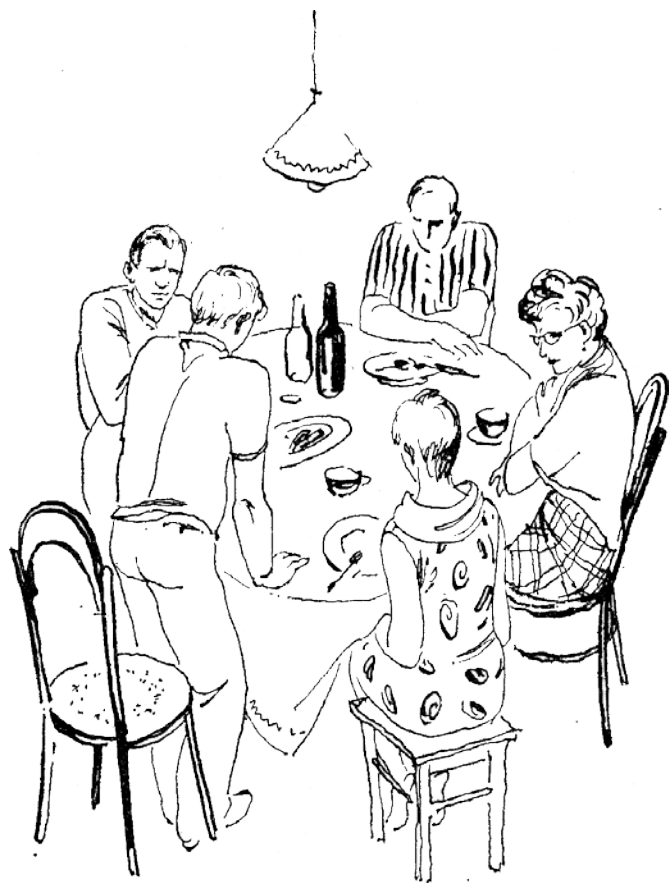
— Ей бы начальником дороги быть.

О начальнике дороги я тоже напишу. И о председателе колхоза в Озерках. И о доярке, выступавшей на областной конференции животноводов. И о других. Шесть очерков. Только напишу ли седьмой — о медицинской сестре из далекой рудничной больницы?

Говорят, автор должен отойти от своих героев, взглянуть на них со стороны. Но я не могу отойти от нее. Не могу взглянуть со стороны.

Поезд идет, плывут за окном бледно-зеленые всходы на почерневшей от ночного дождя земле. Где-то впереди Москва, метро, знакомый редакционный коридор с красной ковровой дорожкой. Я положу на стол три исписанных блокнота и объемистую клеенчатую тетрадь. Шесть путевых очерков.

Седьмого не будет.



**ПРОШУ ВСТАТЬ!**



*6 часов вечера на часах  
гостиницы «Москва». То  
же время на часах Колесо-  
ва.*

Когда он вошел в номер, дверь на балкон была открыта. Елена стояла, облокотясь о перила, и смотрела вниз, в пролет бывшего Охотного ряда. В голубом ситцевом халатике, туго стянутом в талии, она показалась ему почти девочкой, той самой «девчонкой-тончавкой», как прозвали ее однажды встретившиеся в тайге охотники. А ведь она была моложе его всего на четыре года.

Колесов бесшумно закрыл дверь в коридор и посмотрел в зеркало у вешалки. На него взглянуло знакомое холеное, уже

начавшее полнеть лицо. Шея под подбородком еще не выпятилась толстой, мясистой складкой, но уже чуть-чуть набухла и пожелтела, как белый налив. Какой-нибудь год-два — и над воротничком повиснет второй подбородок.

Все остальное благополучно. Бобровая искорка седины на висках, говорят, даже красива. Взгляды встречающих женщин задерживаются на ней чуть дольше, чем этого требует равнодушные. Да и сорока одного еще нет — разве это старость?

— Лена! — позвал он.

Она обернулась, но не сделала ни шагу, так и осталась на балконе в лиловой московской дымке, чуть-чуть позолоченной все еще высоким солнцем. Хотя они были женаты уже более десяти лет, Колесов не устал любоваться ею, как эскизом художника, что-то позаимствовавшего у последних французских импрессионистов — обаяние незаконченности, недосказанности, намек. И фигура словно недописанная, и в лице какая-то неправильность — не поймешь, смешная или несмешная, и волосы, совсем выцветшие в экспедициях, — не то ковыль, не то соломка, и кожа, почерневшая, как у девчонки на пляже, не знающая ни крема, ни пудры. «Ведь понимает, бесовка, свою силу, не бежит навстречу, не тянется, а ждет, как магнит железку», — подумал он, входя в комнату.

— Я тебя еще на улице увидела, когда ты из такси выходил, — сказала она. — Почему так скоро?

— А я не был в министерстве.

Тень беспокойства согнала улыбку с ее лица. Елена шагнула вперед.

— Почему? Что случилось?

— Катастрофа. Извержение вулкана на улице Горького. Остановился у табачного киоска — гляжу: Арам.

— Какой Арам?

— Апресян. В Саяны едет. Мы с вокзала, он на вокзал.

— Ничего не понимаю, — сказала Елена, — он-то при чем?

— При том. — Колесов веселился, хорошее настроение появилось в нем, подкрепленное только что выпитым в «Гастрономе» бокалом шампанского. — Он источник новостей, герольд неприятностей. Оказывается, завтра с утра у Василия Витальевича коллегия. Гран-спектакль. Всех, кто из нашего брата в Москве, загоняют, как прихожан в церковь. А я не хочу.

Елена настороженно молчала.

— Я там и не нужен, — продолжал он, уже нахмурясь. — О нашей меди вопрос не стоит. Да и вообще нет такого вопроса. Разведка закончена. Я на коне, и конь мой, между прочим, скачет на Рижском взморье. Все еще не понимаешь?

— Нет.

— Так, появившись я сегодня, меня тут же заарканивают. Пожалуйте, Юрий Петрович, с утра на коллегия, еще один главный геолог за компанию. Василий Витальевич приплюсует. И потей потом часов десять, дыши никотином. Говорят, Сочнев чуть свинцовое месторождение не затопил — вот и будут причесывать. А я при чем?

— Как затопил?

— Теоретически. Промазал разведку в районе будущего затопления. Какой-то шустрик сигнализировал. Нам бы ваши заботы, господин учитель, — неестественно засмеялся Колесов, но тут же заметил, что Елену не обманул.

Она глядела строго и недоверчиво.

— Не ершись, Ленка, — сказал он и обнял ее, приподняв над балконом.

— Пусти! — рванулась она.

— Не пущу.

— С ума сошел. Увидят.

— Кто?



Он оглянулся: балконы кругом были пусты, но все же отпустил, слегка разжав руки. Он давно не был так счастлив, как сейчас: впереди целый месяц бездумных маленьких радостей и весь этот еще не угасший июльский день.

Колесов повернул Елену, как партнер в танце, и подтолкнул к перилам балкона. Проспект Маркса открывался внизу ущельем, зажатым между двумя скалистыми громадинами — гостиницей «Москва» и зданием Совета Министров. На дне этого ущелья, щедро залитого солнцем, шумел набегающими волнами поток автобусов, автомобилей и мотоциклов. Машины, прильнувшие к тротуарам, и яркие платья женщин сливались в пестрый орнамент берегов.

Колесов взглянул вниз и сказал:

— Хорошо!

Он сказал это с искренней радостью и тайной надеждой, что радость его передастся Елене, оборвет разговор, приобретающий уже неприятный оттенок, и пойдет просто речь о том о сем — о милых пустяках. Колесов не все рассказал Елене, и не хотелось ему рассказывать, но, искоса взглянув на нее, он понял, что ошибся: милых пустяков не будет.

Елена смотрела понимающе и насмешливо:

— Ну, а теперь говори правду.

— Я и сказал правду.

— Полуправду.

Колесов вздохнул.

— Дело не в Сочневе и не в затоплении, — продолжала Елена.

Колесов опять вздохнул: разве ее обманешь!

— Я буду в министерстве, — сказал он, — только к концу дня, когда Василий Витальевич умиротворится и подобрееет. Словом, когда жертва уже будет принесена.

— Опять загадки!

— Не перебивай. — Колесов нахмурился.

«Придется все рассказать, — подумал он, — с Еленой хитрить нельзя. Во-первых, опасно, во-вторых, бессмысленно».

— Все это сложнее и серьезнее, — проговорил он, как бы подчеркивая всю важность того, что будет сказано. — В общем, есть телеграмма из Южно-Сахалинска. Свалился Марфин, наш Сан Саныч, помнишь? И слег надолго: в этих широтах, по-видимому, работать не сможет. Василию Витальевичу уже положено. На местную замену он не пойдет — значит, козел отпущения будет подстрелен здесь. Может быть, даже на совещании. Вот я и не хочу идти на охотника. Понятно?

— Понятно, но нечестно.

— Что нечестно? — взорвался Колесов. — Не выполнить приказ — это, верно, нечестно! Но я в отпуске, и мне никто ничего не приказывает. Могу прямо проехать в Ригу, даже не заглянув в министерство.

— Ты вполне можешь заменить Марфина.

— Значит, на Сахалин? — Колесов еле сдерживался. — Значит, прощай отпуск, прощай взморье, прощай диссертация? Зря, что ли, обещали мне научную работу в Москве? В конце концов, и Титов так же отлично заменит Марфина. А он в министерстве сидит.

— Все равно нечестно, — тихо сказала Елена и опустила глаза.

Колесов взглянул на выплывшие ее ресницы, на голубую акварель неба над ее головой и вдруг успокоился.

— Я никого не обманываю, Лена. Я просто не хочу лезть на рожон. О чем спорить? Сегодня, во всяком случае, вечер наш.

Он посмотрел на часы.

*6 часов 15 минут.*

— И мы еще успеем попасть в Лужники. Там сегодня... — прибавил он весело и засмеялся.

Елена даже не улыбнулась.

— Мы не поедem в Лужники.

— Почему?

— Мы едем на дачу к Самохину.

— К какому Самохину?

— Юра! — в возгласе Елены прозвучали удивление и обида.

— А... Колька Самохин, — вспомнил Колесов. — Отыскался след Тарасов... А собственно, почему вдруг надо ехать к Самохину? — спросил он задиристо. — И почему сегодня?

— Потому что в Москве сейчас и Люда Завадовекая а Саша Меньшиков. Неужели непонятно?

Колесов помолчал, сжав губы. Сообщение Елены не доставило ему удовольствия.

— Откуда ты это узнала? — спросил он.

— Мы встретились с Колей у подъезда гостиницы. — Елена все еще не понимала внутреннего сопротивления Колесова. — Потом поднялись сюда и позвонили. Людка тоже в командировке, остановилась у сестры. Саша один и скучает. Ты знаешь, он с женой разошелся.

— На дачу! — иронически воскликнул Колесов. — Откуда у Кольки дача?

— Он учительствует в Фатеевке. Это километров шестьдесят от Москвы. Сейчас в отпуске. Там у него домик с садом. Можно на поезде, но у Саши машина. Он к нам заедет через полчаса, а может, и раньше. Все равно обед пропустили, у Коли поужинаем.

— Домик! — с той же иронической интонацией повторил Колесов. — И с садом! Клубничка, малинка, антоновка. Пчелки в ульях — знаем. Частником небось стал товарищ учитель. Сеem разумное, доброе, вечное, а пожинаем рублики на рынке.

Елена отодвинулась.

— Ты забыл, кто такой Коля Самохин? — сказала она тихо. Губы ее дрожали.

Нет, Колесов не забыл. Огромный двор со старыми тополями и волейбольной площадкой, превращавшейся зимой в каток, — там родилась дружба, о которой Елена напомнила с такой укоризной. Все они — Меньшиков, Самохин и Колесов — жили в одном доме, учились в одной школе и играли в одной команде. К ним всегда присоединялись их сверстница Люда Завадовская, студент геологоразведочного института Венька Гринчук и большеглазая, веснушчатая девчонка Ленка Часовникова, на которую за пределами волейбольной площадки никто и внимания не обращал. Да и в команду ее приняли лишь за невиданную прыгучесть и точный удар. В последние годы перед войной все они, кроме Ленки, разбрелись по вузам: Людка в медицинский, Самохин в педагогический, а Колесов, всегда подражавший Гринчуку, в тот же геологоразведочный. Сам Гринчук, к этому времени уже сменив портфель студента на рюкзак геолога, пропадал где-то в экспедициях в немыслимой сибирской глуши. Меньшиков, писавший плохие стихи, почему-то в вуз не пошел, а работал очеркистом в вечерней газете. Только Ленка все еще оставалась веснушчатой школьницей, по-прежнему нескладной и длинноногой, как цапля.

Колесов мысленно поставил ее рядом с теперешней Еленой Часовниковой, зачем-то пробующей воскресить сейчас давно и далеко ушедшее, недобро усмехнулся.

— Как не стыдно, — сказала она.

— Все мы изменились, Лена, — примирительно проговорил Колесов. — Я уже не прежний волейболист Юрка, а в тебе от той Ленки ни клеточки не осталось. И Самохин, наверно, уже не тот, каким он видел его в те далекие годы.

— Нет, тот... — упрямо сказала Елена. — Все тот же.

Колесов глубоко вздохнул. Он знал, как трудно спорить с Еленой, но он знал и другое: как надо с ней спорить.

— Допустим, ты права, — начал он мягко, — он тот, мы те, ничто не изменилось.

— Глупости. Целая жизнь прошла. Ты же знаешь: я не о том.

— А я о том... У нас только два дня в Москве. Зачем тратить их на воспоминания?

— Почему только воспоминания? Когда встречаются друзья...

— А ты уверена, что мы все еще друзья?

На него взглянули, словно из прошлого, полные негодования глаза.

— Дружба, как и любовь, требует общения, — сказал он, воспользовавшись паузой, — разлука ее убивает. Что общего у меня сейчас с Сашкой Меньшиковым? Он неудачник в любви, я — счастливчик. Он варится в литературном котле, я — в самой гуще жизни. Мы дышим разным воздухом, всходим на разных дрожжах и пьянеем от разных вин. Встретимся, а поговорить не о чем. Перебирай старые пятаки детства час, два — сколько можно?

Пытливые глаза Елены насторожились. Негодование угасло.

— Тут что-то не то, — сказала она задумчиво, — говоришь об одном, а на уме другое. Что?

Колесов демонстративно пожал плечами: начались гадания?

— Нет, нет, — продолжала она, — тебя другое беспокоит, уверена. Кто-то тебе неприятен. Кто? Меньшиков? Коля?

— Не глупи, Ленка. — Колесов поморщился. Ему действительно был неприятен этот разговор. — Просто двадцать лет спустя — это скучно. Я не д'Артаньян.

— Да, ты не д'Артаньян, — подтвердила Елена.

Что-то очень знакомое, давно забытое послышалось

Колесову в этой реплике. Елена смотрела куда-то мимо него, может быть, даже сквозь время, сквозь эти двадцать прошедших лет, так и не заслонивших однажды пережитого. Колесов понял, что коснулся опасной темы. Он никогда не был д'Артаньяном. Д'Артаньяном был Гринчук. Черт его дернул напомнить это Елене — все равно что ступить на каменную осыпь: еще шаг — и костей не соберешь. Он опустил глаза.

— Двадцать лет спустя, — тихо повторила она.

И, взглянув на часы-браслет, почему-то повернула их внутрь, к ладони.

*6 часов 25 минут.*

Колесов знал, почему она это сделала.

Оба вспомнили одно и то же — поздний октябрьский вечер в затемненной Москве сорок первого года.

Лена спускалась тогда впереди него по скользкой, затоптанной лестнице, освещенной тусклой и грязной лампочкой. Они не разговаривали, готовые тотчас же разойтись и потерять друг друга в окружавшей их темноте.

Темнота была так густа, что казалась непроницаемой. И чьи-то медленные-медленные шаги — кто-то невидимый осторожно, будто крадучись, прошел совсем близко от них — показались тревожными и пугающими. Лена вздрогнула и прижалась к нему, словно ища защиты. И тут произошло то, о чем Колесов вспоминал потом со стыдом и сожалением. Он неожиданно обнял ее и поцеловал, вернее, едва коснулся губами чуть теплого виска у края тесной вязаной шапочки.

Зачем он это сделал, Колесов не мог себе объяснить. Он был совсем равнодушен к этой угловатой, нескладной девочке и в ее безразличии к нему никогда не сомневался. Да и порывистое движение ее в ночной темноте, явно продиктованное испугом,

едва ли могло обмануть. Но что сделано, то сделано, и неловкая выходка Колесова глубоко оскорбила Лену. Она тотчас же вырвалась, мелькнул еле видимый в темноте светящийся циферблат ее ручных часов, и Колесов почувствовал удар, нанесенный той же сильной и меткой рукой, какой она посылала мяч на площадку противника.

— С ума сошла, Ленка! — обиженно вскрикнул он и тут же услышал яростный свистящий шепот:

— Пакостник! Молчал бы лучше. Тоже мне герой-любовник!

И Колесов, уже привыкший к темноте, увидел, как она поправила сбившиеся от удара часы на руке, повернув их циферблатом внутрь. Крохотный светлячок исчез.

Почему они оба оказались вместе в тот памятный октябрьский вечер? Конечно, из-за Коли Самохина. Он всегда был инициатором их экстренных сборищ, совместных поездок, туристских маршрутов и дружеских вечеринок, на которых галдели и спорили до боли в ушах. Но все это принадлежало мирному времени, о котором забыли с первых же дней войны. Колесова прямо из военкомата отправили на военный завод под Москвой, где он с тех пор жил на казарменном положении. Однажды, приехав в Москву, он зашел к Самохину, но не застал его дома. В другой раз встретил Люду, окликнувшую его у остановки автобуса. Она бежала куда-то, зябко кутаясь в старенький прорезиненный плащ, плохо защищавший ее от начавшихся уже холодных осенних дождей.

— Проводи меня, если хочешь. Спешу.

— Вымокнешь, Людка.

— Не беда. Сашка вчера насквозь вымок. Весь день в открытой машине ехал.

— Откуда?

— Где-то под Волоколамском был. Он сейчас военный корреспондент. Разъезжает на редакционном газике туда-сюда, фронт рядом.

— А ты куда?

— В санупр. Санитарный поезд сейчас формируется. Папка главврачом едет. Ну и я. Ленку тоже возьмем. Санитаркой пока.

— Девочку — санитаркой?

— Так она знаешь как вытянулась? Ты посмотри — меня догнала.

Колесов вспомнил, что Люда Завадовская уже третий год как училась в мединституте, и спросил, не скрывая недоумения:

— Ты же на третьем курсе? С третьего не забирают.

— Ну и жаргончик у тебя, — рассердилась Люда, — забирают, не забирают... Словечки какие-то дохленькие. Колька бы тебе за них выдал!

— Он в Москве?

— Пока в Москве. Тоже, вероятно, скоро уедет.

— А Венька?

— Не знаю. Как уехал тогда в тайгу — так ни слуху ни духу.

Гринчук еще весной, окончив геологоразведочный, уехал в Сибирь в экспедицию и все еще не возвращался.

— Призвали, должно быть, — решил Колесов, особенно не задумываясь.

— Он бы написал. Или заехал. Самохин только его и ждет, чтобы всех нас собрать. Если только к этому времени и мы не разъедемся.

Так и случилось. Гринчук вернулся неожиданно, в тот же промозглый октябрьский день, когда Колесову удалось в третий раз побывать дома. Колесов с трудом узнал Веньку, когда тот забежал к нему поздороваться, — так он осунулся, высох и почернел.



— Болел, — кратко пояснил Гринчук. Он был в красноармейской пилотке и короткой шинели, туго перетянутой ремнем у пояса.

— Мобилизовали? — спросил Колесов.

— С пополнением приехал. Сейчас эшелон перегоняют с Казанского на Белорусский. Вечерок есть. Приходи к Кольке попозже. Все соберутся.

Самохину действительно посчастливилось собрать всех, даже Сашку Меньшикова, только что вернувшегося из очередной поездки на фронт, к этому времени уже приблизившийся к Москве.

Пили горячий, крепкий «самохинский» чай с вареньем из китайки, присланным Николаю матерью из деревни. Варенье было, наверно, прошлогодней варки, затвердело, как цукат, и доставалось не ложкой, а длинным кухонным ножом, которым его буквально выковыривали из огромной стеклянной банки. Это еще более увеличивало шумную, смешливую студенческую сумятицу, в которой так легко забывалось о ночной настороженной тишине за наглухо зашторенными окнами.

Забывалось, но не совсем. Спорить — спорили, шутить — шутили, даже посмеивались друг над другом, будто по-прежнему. И все-таки не по-прежнему.

— Смотрите, Сашка спит. Сашенька!

— А?

— Пьешь чай, а глаза закрыты.

— Я всегда так, когда оттаиваю. Прокатись-ка с ветерком под бомбежкой! Сосулькой станешь.

— Добавь ему кипяточку, Люда.

— А может быть, есть что покрепче? Самохин — человек заправский. Есть, Коля?

— Тархун есть. Третьего дня в бакалее выстоял.

— Я говорил: смекалистый мужик. Так не томи — давай.

— Я не для питья, ребятки, для обмена. Табачку нема.  
— Не можешь без курева?  
— Привычка.  
— Махра тоже не подарок.  
— Так отменим тархун.  
— Правильно. Отменить тархун! Зеленая гадость. Брр... —  
Это Люда, самая нетерпимая к мужским утехам.  
— А я бы выпил. И Сашке оттаять надо.  
— Не надо. Я вчера у зенитчиков двести принял. Чуть сразу  
не вырвало.  
— Тоже мне воин! — сказал Колесов.  
— Ясно, не табельщик.  
— А что? Я в табельной только два дня сидел. А потом в пожарники перевели. Как тревога — на крышу.  
— А потом куда?  
— По своему опыту судишь? Эмпирик...  
— Не ссорьтесь, мальчики.  
Это опять Люда. Лена молчала. Колесов только поймал ее  
скользнувший мимо взгляд.  
— А жутко сейчас за городом? — спросила Люда у Меньшикова.  
— Холодно. И бомбят, конечно. Остановишь машину — и в кювет. А там грязная жижа по горло.  
— Страшно?  
— Как когда.  
— Страх — это естественная реакция организма на внешние раздражения, — сказал по-всегдашнему убежденно Самохин. — Как боль. Преодолеешь — пройдет.  
— Боль не преодолеешь.  
— Так вытерпишь! — Венька засмеялся. — У нас в Олоконах, когда по отрогам шастали, все было. И страх и боль. Такие

осыпи — только шагни. Все равно что парашют отказал. Я в пропасть сорвался — только сук и спас.

— Господи, когда это только кончится? — громко вздохнула Люда. Она едва ли слушала Гринчука.

Никто не ответил. Только Самохин сказал, помолчав:

— Кончится-то кончится. Только не скоро. Важно, чтобы кончилось, как положено.

— Кем положено? — Голос Люды Завадовской вдруг зазвенел.

— И на нашей улице будет праздник. Кто это сказал, знаешь?

— А кто сказал, что будем воевать малой кровью и на чужой территории? Кто сказал, что наша авиация сильнейшая в мире? И кто говорит, что отступаем стратегически, по-кутузовски отступаем?

Голос Люды звенел уже на самой высокой ноте.

«Истерика. Лишнее мелет», — подумал Колесов.

Меньшиков, только что полудремавший в своем углу, размякший от тепла и сытости, уже сидел прямой и собранный, как перед ветровым стеклом автомобиля на подмосковном шоссе.

— О солдатском героизме вы уже в сводках читали, — сказал он, — все это верно. Сам видел. Я и горе видел, и страх, и отчаяние. Всякое видел на фронтовых дорогах. Но никогда не видал, чтобы отчаяние до неверия доходило. На днях застряли на Волоколамском шоссе с одним майором. Шофер под машину полез, ну, а мы на ветерке прыгаем, согреваемся. Смотрю: обгоняют нас трое, должно быть, от Истры идут — до Москвы дорога не малая, если пешком. Мужчина лет сорока в демисезонном пальто, девочка у него на закорках, в руках чемоданище. Рядом женщина с сумкой. Идут — не смотрят, еле ноги волочат. Мы с майором переглянулись, и я предложил: садитесь,

говору, места хватит, до Москвы подбросим. Поблагодарили, сели, рассказывают: действительно от самой Истры. Там у них дача в поселке научных работников. Мужчина представляется: «Шмидт». Майор даже оторопел: «Как Шмидт?» — «Так, — говорит, — немец, думаете?» — «Да нет, — мнется майор, — просто фамилия сейчас несозвучная». А тот как петух: «Что, нерусская? А лейтенант Шмидт? А Отто Юльевич Шмидт? Мало вам этого?» Нашему майору пальца в рот не клади: нахал. «Что ж, — говорит, — даже мы стали забывчивы, а немцы без дураков за своего примут». Обидели человека, конечно. Хотел вылезти, пешком идти. Насилу уговорили. «Русский я, — так и сказал, — по-русски с детства лепетал, сейчас сам русскому в школе учу и ухожу, чтобы, вернувшись, чистым в школу его принести, без немецких варваризмов». Если бы вы знали, как просто, доверчиво и убежденно прозвучало у него это «вернувшись»!

Тихий смех прозвучал в тишине, не печально — радостно. Смеялся Венька.

— Дорогие мои, смотрю на вас и думаю: ведь передо мною Россия! Не вся, конечно. Но близкая мне, моя, добрая. Гневается, как Люда, и сама же на фронт рвется. Или стиснула зубы, как Колька, — готова все вытерпеть до конца, до победы. Или понимает все и без усталости идет, как наш Сашка. Или мечтает, как Леночка, небо в алмазах увидеть в первый же вечер после войны. Правда, девочка?

Все засмеялись, а веснушки у Лены порозовели и пальцы неловко комкали скатерть. В эту минуту репродуктор, приглушенно гудевший что-то неразборчивое, вдруг щелкнул и умолк.

— Воздушная тревога, — объявил диктор.

За окном завывала сирена воздушной тревоги. Наверху гулко хлопнула дверь, и чьи-то шаги застучали по лестнице.

— Сейчас начнется, — сказал Колесов.

Самохин потушил свет, поднял одеяло, закрывавшее тревожный мир за окном. Сверкнул раскаленный добела кинжал прожектора. Он кромсал черный каравай неба, не освещая улиц.

Люда вздрогнула в темноте.

— Не надо, Коля.

Свет снова вспыхнул. Плавающее небо исчезло. Загрохотали зенитки, сначала далеко, потом поблизости, частыми, ухающими разрывами. Колесов даже пожалел, что Самохин опустил одеяло. Его привлекала эта бездонная чернота неба в длинных сверкающих трещинах, эти почти неподвижные силуэты самолетов в белом кипении луча, эти разноцветные струи пуль на черном бархате неба. Бесшабашный, неистовый интерес захлестывал душу, и не было в ней места для страха. Вернее, страх еще не приходил, мальчишеская бравада отгоняла, не подпускала, дразнила его, не сознавая опасности. В эти тревожные часы он никогда не спускался в убежище, а сидел у открытого окна в темной комнате или забирался на крышу, чтобы видеть все превращения неба. Он даже скулил в тихие, спокойные ночи, только никому и никогда не говорил об этом, боясь, что не сумеет объяснить своего состояния и что любое объяснение, пожалуй, прозвучит кощунственно для слушателей. Он и теперь промолчал, уверенный, что его все равно не поймут, особенно Самохин, слишком прямолинейный для таких движений души. Он-то наверняка не поймет.

— Ну как? — спросил тот, показав большим пальцем на пол: все знали, что в подвале дома есть убежище.

— Паршиво там, — зевнул Меньшиков, не двигаясь с места, — грязь и холод.

— И присесть негде, — прибавил Самохин. — Может, останемся?

— Я — «за», — сказал Колесов.

Люда и Лена промолчали. Люда потому, что по-детски пугалась выстрелов, а Лена не сводила глаз с Гринчука, словно ожидая только его слова.

Венькино слово, как и всегда, было решающим.

— Заметано, — сказал он, — остаемся. Девочкам привыкать надо: на фронт едут. А Юрке эта музыка, по- моему, даже нравится,

— Откуда ты взял? — вздрогнул Колесов.

— В тебе зенитчик или прожекторист пропадает.

Я по тому заметил, как ты в окно смотрел. Зря тебе «ограниченную» дали.

— А меня не спрашивали.

— Добровольцем бы шел. Просись в прожектористы, возмут.

Всем опять стало легко и весело. О воздушной тревоге, немолчно напоминавшей о себе яростным кашлем зениток за плотно зашторенными окнами, уже не думали.

— Последний нонешний денечек, — фальшиво пропел Сашка Меньшиков и замолчал.

— Вот бы и хотелось его не забыть, — прибавил Самохин с непонятной торжественностью, — не забыть всего того, что сейчас было и будет сказано. Всю нашу жизнь, какой бы короткой она ни была, мы должны прожить так, чтобы не стыдно было...

— Не цитируй, Колька. Все знают, — перебил Меньшиков.

— А мы свое скажем, — задорно произнес Гринчук и встал.

Было в нем что-то светлое, покоряющее с первого взгляда. И добрая, чуточку застенчивая улыбка, и неловкий жест, каким он поправлял сбившийся на лоб вихор, и негромкий, глуховатый, задумчивый голос сразу привлекали внимание, как только Венька начинал говорить. Колесов вспомнил как-то услышанный им разговор на вечере институтской самодеятельности, где

Венька читал последнюю главу из «Тихого Дона». «Идите на сцену, — сказал ему присутствовавший на вечере известный актер-мхатовец, — у вас абсолютный художественный слух. Чувство правды. Вы чувствуете ее безошибочно. Вы актер». — «Нет, — засмеялся Венька, — я геолог». Но все, что он говорил даже в шутку, всегда казалось значительным, проникнутым чувством глубокой внутренней правоты, убежденности, веры.

Именно так и прозвучали в тот вечер его обращенные к друзьям слова.

— Прошу встать! — сказал он.

Все встали, полушутя-полусерьезно, вопросительно переглядываясь, чуть-чуть недоумевая.

— Коля прав, — продолжал Гринчук, — сказать надо. Ведь друзьями были, друзьями и расстаемся. Что-нибудь такое... — Он задумчиво полузакрыв глаза, словно вспомнил что-то. — Клятву не клятву, а так — пожелание. Только чтобы от сердца, от самого сердца. Пусть каждый скажет.

— А что? — спросил Меньшиков.

— Сам знаешь. Громких слов не надо — все ясно. Дело, к которому мы призваны, нам сейчас дороже всего...

— Дороже жизни, — тихо сказала Люда.

— Дороже жизни, — повторил Самохин. — Куда бы нас ни послали, ребята, с чистым сердцем надо идти.

— И с чистой совестью, — подхватила Люда.

Колесов искоса взглянул на Лену. Глаза ее, устремленные на Гринчука, светились его отраженным светом.

— Масонская клятва, — усмехнулся он.

— Дурак, — оборвал его Меньшиков. — Не масонская, а комсомольская.

— Большевистская, — сказал Гринчук.

А потом был отбой, и опять чьи-то шаги по лестнице, и собственные их шаги в темноте, и горящая от стыда и боли щека, и этот вдруг погасший светлячок циферблата.

*Все еще 6 часов 25 минут.*

— Все тот же Самохин, — засмеялся Колесов и демонстративно вздохнул: — Значит, вечер потерян.

Елена не ответила.

— И женат небось?

— Женат.

— Жена тоже шкраб?

— Не знаю. Она где-то отдыхает с девочкой. Он один сейчас.

— Хорошо хоть это. Не надо приспосабливаться к незнакомому человеку. А Сашка что, потолстел?

— Потолстел.

Елена отвечала, не глядя на мужа, отвернувшись к открытой двери балкона.

— На своей машине заедет. «Волга» небось?

— Не знаю.

— Деляга.

— Нет, не деляга.

— А ты почему так странно со мной разговариваешь?

— Меня огорчает этот разговор.

Она по-прежнему стояла спиной к Колесову. Напряженная поза ее выдавала сдерживаемое волнение. Значит, разговор обострялся.

— Я просто высказал то, что об этом думал.

— Нехорошо ты думал.

Так и есть: обижена.

— Эта прогулка в прошлое только расстроит тебя и меня, — сказал он.



- Меня ты и так расстроил.
- Я о другом говорю. Ведь ты и любила тогда другого.
- К мертвым не ревнуют, — произнесла она тихо, почти шепотом.

Но Колесов ничего не заподозрил в этом шепоте. Он снова обиженно и громко вздохнул:

- Зря едем. Определенно зря.

Клена молчала.

Я не храню старых писем и не люблю неприятных воспоминаний, — продолжал он, уже не скрывая своего раздражения.

- О чем лай? — спросил кто-то сзади.

Елена и Колесов обернулись. Но и не оборачиваясь, можно было сразу узнать вошедшего. Сашка Меньшиков обожал сценические эффекты, розыгрыши и мистификации. Неслышно войдя, он всегда объявлял о себе репликой своего тезки из кинофильма «Петр Первый».

Сорокалетний, располневший, с брюшком, упрятым в элегантный костюм, он стоял в дверях с лукавой улыбкой на чуть желтом от московского загара лице. Колесов тотчас же подметил поредевшие волосы и широкую складку шеи, набухшую под подбородком.

— Постарел, Алексашенька, и распух малость, — засмеялся он и шагнул навстречу вошедшему. — Постарел, корешок, а штучки все те же — с большой перемены.

— Молчи, мухомор таежный, — загрохотал Меньшиков, — сам распух, арбуз в брюках. А вот Леночка в форме.

Он подхватил протянутые руки Елены и с пафосом проскандировал:

— Мы прекраснейшим только то зовем, что созревшей силой отмечено. Виноград стеной, иль река весной, или нив разлив, или женщина... И какая женщина!

— Будет, будет, — смеялась Елена.

— Что будет, Лоллобриджида? — Меньшиков обнял супругов за плечи. — Счастливец ты, Юрка. Не жену, а миллион выиграл. Ну, рассказывай.

— А что рассказывать? — спросил деланно безразлично Колесов, хотя рассказывать о себе ему всегда нравилось. — Нашел руду, бился за нее, аки лев, со всеми фомами неверующими, бурил, копал, доказывал и доказал в конце концов. Рудник открыт.

— А Государственную премию забыл? Мы помним.

— Так ведь ее когда дали? А потом что пошло? Кто-то усомнился, кто-то сигнализировал. Ну и резолюция: маломощное, говорят, месторождение. Ошибка с премией. Денег не поделили, работы остановились. Сколько одних комиссий было!

— Читал. Даже сам очеркишко выдал.

— Наврал с три короба.

— Серьезно? — заинтересовался Меньшиков. — Я ведь с ребятами, которые от вас приезжали, встречался.

— Где встречался, в «Арагви»? А нагородил... Погоди, погоди, дай вспомнить. — Колесов взял Меньшикова за пуговицу. — Взрывник не доброволец, а профессионал. Штольни не с вершины бурили, а пробивали горы со склонов. Пирит и халькопирит — это совсем не одно и то же.

Меньшиков покраснел и стал похож на школьника, не выучившего урока.

Елена весело перебила мужа:

— Не придирайся, мелкий бес. Не слушай его, Саша. Хорошо написал, с душой. Главное, романтику нашего дела почувствовал.

— У нас не романтика, а работа, — поправил Колесов. — Романтику выдумали инженеры человеческих душ.

— А Венька? — воскликнул Меньшиков.

Колесов бросил укоризненный взгляд на Елену: слышишь, мол, уже началось. Елена вся подобралась и сжала губы.

Но Меньшиков ничего не заметил.

— Венька умел видеть в вашей работе и поэзию и романтику.

— Гринчук работал всего два года, а я на одни Олоконы полжизни убухал, — сказал Колесов. На Елену он не смотрел. — К Самохину собираешься? — спросил он, чтобы переменить тему.

— А вы разве нет?

— Что-то не хочется.

Меньшиков даже отодвинулся и вопросительно посмотрел на Елену.

— Я еду, — ответила она на его взгляд.

— Тогда поехали, — поторопил Меньшиков и встал. Вмешиваться в супружеский спор ему не хотелось.

Колесов вдруг испугался, что все произойдет без него. «А что именно? Что произойдет?» — подумал он. Темное предчувствие кольнуло в сердце. Но он уже знал, что поедет вопреки всем предчувствиям.

— Сдаюсь! — сказал он. — Ехать так ехать.

*После 7 часов вечера.*

Со своего места сзади Колесов не видел лица Елены. Она не поворачивала головы, даже разговаривая с Меньшиковым. Но Колесов точно знал, когда и как во время этого разговора менялось ее лицо, вспыхивали или темнели глаза, улыбались или строго сжимались губы. С обостренным, хотя и тщательно скрытым волнением он следил за каждым словом, иногда вмешивался в разговор будто случайно и неохотно, но всякий раз преднамеренно и решительно, предугадывая или предчувствуя

опасный поворот впереди. Такие повороты в разговоре настаивали его больше, чем Меньшикова виражи на шоссе. Тот просто игнорировал их, даже не сбавляя хода.

— Легко ведешь, — говорила Елена, — даже с кокетством. Давно?

— Что давно?

— Водишь.

— Да еще когда с фронта приехал. Забыла? Я тогда машину привез — «опель-капитан», помнишь?

Колесов понял, что нужно вмешаться.

— Давно купил? — спросил он.

— Года два.

— Деньжат много?

— Когда много, а когда и совсем нет. — Меньшиков вздохнул. — У меня всегда так: то я кому-то должен, то мне должны. Сам небось помнишь, как в самохинском «раю» поучал?

Он доверительно повернулся к Елене:

— Просто умора, Ленка, ей-богу. Мы тогда в самохинской комнате жили. У нас в корпусе не топили: трубы лопнули, а у Кольки во флигеле — «голландка», рай. Топи — не хочу. Когда в октябре сорок первого Самохин на фронт ушел, я тут же к нему и перебрался. Хоть отогреться мог после фронтовых вояжей. Ну, а потом и Юрка пристроился...

— Я в сорок втором, — сказал Колесов, — когда нас в Москву перевели.

— Все одно в ту зиму. Ты и талоны на дрова доставал. А я возил их, как мерин шершавый. Помнишь: «Откуда дровишки? Со склада, вестимо»? — Меньшиков засмеялся и толкнул локтем Елену: — Ты же у нас была потом с Людой. Помнишь?

Он засмеялся, не подозревая того, что опять скользнул на крутой поворот. «Идиот, — мысленно выругался Колесов, —

заладил свое: «Помнишь, помнишь?»! Ничего я не помню и помнить не хочу!»

Елена действительно приезжала тогда вместе с Людой. Их санитарный поезд переформировывался где-то на Западном фронте, и девочки приехали не то в отпуск, не то в командировку. Людмила повзрослела и похудела еще больше, а Елену Колесов совсем не узнал. Не то чтобы ее изменила военная форма, нет. Просто уехала на фронт смешливая, угловатая, порывистая девчонка, а вернулась женщина, с плавными, медлительными движениями и со странно задумчивым, строгим лицом. Она бродила по Москве, точно гость из другого мира. Колесов никогда не видел лунатиков, но именно так в его представлении должны были они вести себя в своих одиноких ночных экскурсиях. Взгляд ее был такой отрешенный, такой нездешний, что собеседнику становилось жутко. Она на вопросы отвечала охотно, но слова ее глухо постукивали, ничем не согретые, замерзшие, как чурки на морозе.

Она пришла вместе с Людой в самохинский «рай», не зная, что он уже оккупирован Колесовым и Сашкой. Тот появился в эту минуту с дровами, загалдел, расцеловал девушек и тотчас увел с собой Елену помочь сгрузить мелкие поленья в подвал. А Люда, когда Меньшиков ушел, тихо сказала:

— Не обращай внимания на Лену, Юрка. Не спрашивай ни о чем. Видишь ли, мы потеряли Веню...

— Как? — вскрикнул Колесов.

— Не надо сейчас об этом... Потом... — остановила его Люда и, помолчав, прибавила: — Я не предупредила Сашу, но ведь он, сам понимаешь, ничего не заметит.

Меньшиков действительно ничего не заметил. Он шумно напился чаю, которым, дипломатично болтая, угощал гостей Колесов, не стесняясь, зевнул и плюхнулся на тахту, процедив сквозь зубы:

— Извините, девочки. Ночь дежурил, а потом дрова... «Принес — и ослабел и лег под сводом шалаша на лыки...» Словом, рыцарство временно отменяется...

И захрапел. А Колесов, спустившись вниз с девушками, подождал, пока Люда отвела Елену к себе и вышла во двор под заснеженные тополя. Был зимний прозрачный вечер, слегка подмораживало, но уже пахло весной — чем-то неуловимым, тепловатым, влажным, донесенным ветром из черноморских степей, с полкой воды на дальних реках, с оттаявшего чернозема.

Вот тогда и рассказала Люда о том, что произошло в их санитарном поезде зимой второго года войны. Колесов так и не понял, каким образом оказался вдруг в этом поезде старший лейтенант Гринчук. Кажется, его где-то ранило, откуда-то вывезли уже после операции, поезд где-то стоял, пока чинили развороченный немецкими фугасками путь, а Венька тем временем отлеживался и набирался сил.

— С первой же встречи у них и началось это, — рассказывала Люда Завадовская. — Я тогда в вагоне была, на обходе. При мне Ленка к нему и подошла. Он на нижней полке лежал, весь забинтованный, одни глаза из-под бинтов смотрели. Знаешь Венькины глаза: умные-умные, с какой-то печалинкой... А как взглянули на Ленку, так засветились. Где грусть, где печаль... Сам небось видел, как расцвела, чудо, право! Была девчонка с веснушками, гадкий утенок из сказки — обернулась царевной-лебедью. Веньку как пришибло: держит ее руки в своих и молчит. И я молчу. Как будто в театре... На сцене площадь в Вероне, когда Ромео говорит... помнишь? «И я любил? Нет, отрекайся, взор: я красоты не видел до сих пор». Не помню, о чем они потом говорили, — меня тоже пришибло. Любила ли я его? Не знаю. Я ведь вошла бесчувственная, любить не умею. Но мне он нравился... ведь он всем нравился. А тут сразу поняла: не мое счастье...

— Она и раньше в него влюблена была. Глаз не сводила, как замороженная, — сказал Колесов.

— Замороженная... — задумчиво повторила Люда, — да-да, именно замороженная. Через несколько дней, когда под Ивинкой стояли, вышла я на площадку. Уже была ночь, а снег ночью синий и морозец такой ласковый, не наш, не московский. Смотрю — на шпалах сидят. Разговора их не слышно, да, может, и не говорили они вовсе: ведь у влюбленных и молчание красноречиво. А тут луна. И в глазах у Ленки такое счастье, такой восторг сумасшедший, что мне стыдно стало, точно я в дверную щелку подглядываю. Повернулась и тихонько ушла...

— А потом? — спросил Колесов.

— Я в сторонке держалась, стараясь и виду не подать, что знаю о чем-то или догадываюсь. Да ведь только два-три дня потом и прошло — недолгое счастье! Мы тогда на путях стояли, за водокачкой. Из-за нее он и вылетел, низко-низко, на бредущем. Я даже летчика видела, когда со станции шла. Наши истребители потом догнали его, сбили, конечно, но обстрелять состав он успел. Которые на верхних полках лежали, тем досталось. Ну и Веньку. Он в тамбуре стоял, Ленку высматривал — она со мной шла.

— И как? — рискнул спросить Колесов.

— Лучше не вспоминать, — вздохнула Люда.

«Лучше не вспоминать», — подумал Колесов и сейчас, когда Сашка Меньшиков вызывал за рулем тени прошлого, извлекая из его памяти этот давно забытый разговор у самохинского флигелька на исходе первой военной зимы. Но помимо воли тут же вспомнился и другой разговор — десять лет спустя в ужминской геологической экспедиции. Елена, к тому времени закончившая институт, работала в его разведывательной партии, — он сам же и добился этого назначения.

Уже тогда он был влюблен в нее по-мальчишески застенчиво и пугливо, не отваживаясь на признание: образ Веньки, воскрешенный рассказом Люды, всегда стоял между ними. Мог ли подумать он, впервые услышав этот рассказ, что спустя десять лет, как неудачливый охотник, безнадежно, больше по привычке он будет сторожить рассвет у ее палатки?

— Опять ждешь? — спросила она. — Чего?

— Не знаю. Просто не спится.

— Не лги. Я все вижу. Боишься сказать. Почему?

— Ты знаешь.

Елена задумалась, скользнула взглядом по тропке, исчезающей в таежном подлеске, и, помолчав, сказала:

— Его не воскресишь. И ты мне все равно его не заменишь. Но... жизнь идет. И мне уже скоро тридцать.? — И прибавила с той отрешенной улыбкой, которой он не понимал и которая его всегда настораживала: — Не бойся мертвых, Юра. Они не повелевают.

Ни он, ни Елена никогда не вспоминали об этом, а сейчас Меньшиков с его дурацким непониманием человеческих душ — никакой он не инженер, а сапожник — все твердит свое: помнишь, помнишь, помнишь?

И Елена слушает его без колесовской настороженной враждебности, и даже смех ее звучит совсем как в юности на волейбольной площадке.

— А кто тебя в самохинскую комнату уговорил переехать? Думаешь, Юрка? Как же! Ты на него и внимания не обращала.

— Он на меня тоже.

— Зато я! Помнишь?

— А что ты? Переселился в гостиницу и забыл.

— Почему забыл? Каждую неделю приходил. Как рыцарь Тогенбург. А какой банкет мы тебе закатили по случаю вселения в самохинский «рай» — во! — Меньшиков патетически



поднял над баранкой руля большой палец. — «Мартель», тушеночка, трофейный шоколад. А обои с птичками?

— Какие обои?

— Она не помнит! — Меньшиков обернулся к Колесову. — Слышишь, Юрка, не помнит! А мы-то старались, клеили. За ночь всю комнату переклеили к твоему поезду.

— А зачем?

— Чтоб тебе светлее жилось, куропатка. Хотя, честно говоря, сам не знаю зачем. Самохин — чистошлюй, на стенках ни пятнышка не было.

— Обои от сырости полопались, забыл? — нехотя отозвался Колесов. В голосе его вдруг прозвучала тревожная нотка.

— Может быть, — согласился Меньшиков, все еще увлеченный воспоминаниями. — Помню, как ты меня подбивал. Уже тогда влюблен был?

— Он позже оттаял, много позже, — засмеялась Елена. — Ископаемое чувство.

Она обернулась и подмигнула Колесову. Он не ответил. Эта экскурсия в прошлое походила на глупейшую игру в лото. Меньшиков бодро-весело выкрикивал цифры, Лена радостно кричала: «Есть!» — а сам он хмуро передвигал фишки. Ну да, все было именно так. Ленку откомандировали в Москву, комната ее была занята переселенцами из разбомбленного где-то по соседству дома, а они с Сашкой рыцарски передали ей обжитое ими самохинское жилье. Был и банкет с тушенкой, и обои, добытые Меньшиковым у редакционного завхоза, и тогенбургские паломничества Сашки в новую Ленкину обитель. Но кому нужны эти старые фотографии? И Колесов злился, ожидая самого худшего. Что-то подозрительно пугающее не ослабляло его напряжения. Даже окружавший их мир, казалось, понимал это, не радуя идиллическими картинками цветочных клумб и аккуратных дачных заборов. По сторонам шоссе теснились ше-

ренги сосен, стало темнее. Рыжие стволы их, подсвеченные сверху заходящим солнцем, превратились в кроваво-багровые. Небо за их выпветшими зелеными кронами тоже побагровело. И снова тревожно подумалось: «Нет, зря поехал! Определенно зря».

— А Юрка Дюма вспомнил, — снова засмеялась Елена. — Мы, как в романе, собираемся. Двадцать лет спустя.

— Почему двадцать? — удивился Меньшиков. — Пятнадцать. Сорок шестой забыла?

*Половина восьмого. На часах «Волги».*

Почему же никто не вспомнил о встрече в сорок шестом? Ведь тогда они снова встретились, как пошутил Меньшиков, в шесть часов вечера после войны. Все, кроме Веньки.

Елена и Колесов в то время уже учились в геологоразведочном: она — на первом, он — на четвертом курсе. Люда вернулась заканчивать медицинский. Сашка поступил в Литературный институт. Только Самохин еще задерживался в армии, где-то за Одером.

Он вернулся неожиданно в последние дни ноября и ничуть не удивился, обнаружив новую хозяйку комнаты. Он молча поставил чемодан, оглядел по-новому расставленную мебель, новые обои и Елену, растерянно забившуюся между дверью и печкой. Волшебное превращение гадкого утенка в царевну-лебедь не произвело на него никакого впечатления.

— Живешь? — спросил он дружелюбно. — Дрова есть?

— Есть, — почему-то испугалась она, — А что?

— Ничего. Закурить можно?

— Конечно, конечно, — суетилась Елена, — располагайтесь, пожалуйста! Комнату шкафами пока перегородим. А здесь — ковер. Правда?

— Глупости, — отрезал Самохин. — Я в институт к себе возвращаюсь. Значит, общежитие дадут. Уразумели, товарищ младший лейтенант?

— Точно.

Оба засмеялись беззаботно и весело, как в былые дни во дворе.

— Ребята вернулись? — спросил Самохин, — Встречаетесь?

— Как когда. — Лена замялась.

— А почему?

Она не ответила.

— Не надо. Собери-ка их всех сегодня. Поговорим, подумаем, как и что.

Разговор этот Елена передала с точностью стенограммы. И все они, жившие в одном доме, но уже отвыкшие друг от друга и встречавшиеся изредка и случайно где-нибудь на подходе к дому или у ближайшей остановки автобуса, выслушали ее без малейшего возражения. Колесов даже пошутить не рискнул и только спросил у сурово молчавшей посланницы:

— И вы будете?

— Сказано, все — значит, все.

И к назначенному часу никто не посмел опоздать. Входили один за другим, догоняя друг друга на лестнице. Их встретил традиционный заваренный до черноты чай и незабываемое самохинское варенье, похожее на цукат. Мать прислала ему банку в Германию, а он привез ее в Москву.

Черствый хлеб и печенная на углях картошка возвращали уже давно выветрившийся отсюда дух нерасторжимой когда-то дворовой дружбы.

— Так и должно быть, — сказал Самохин. — Мирную жизнь завоевали, теперь ее делать будем.

— Проповедник, — пошутил Колесов, — что-что, а жизнишку вытянем. Как-нибудь сделаем.

— Колька по прямой линии от Аввакума происходит, — засмеялся Меньшиков.

Но Самохин не принял шутки. Он молчал, пристально рассматривая узор на обоях.

Всем стало неловко.

— Нехорошо так шутить, — осуждающе проговорила Елена.

— А почему? — спросила Люда. — Мы же товарищи. Только все мы обыкновенные, а Коля святой.

— Николай-угодник! — захохотал Меньшиков.

— Я не в том смысле, — Люда покраснела, искоса взглянув на Самохина: не рассердился ли? — Просто Коля лучше нас. Ну как бы это сказать?.. Строже к себе, строже к другим.

А Самохин все молчал. Потом вдруг резко повернулся к Колесову и, никак не реагируя на тираду Люды, спросил в упор, как выстрелил:

— Так, значит, как-нибудь?

— Что «как-нибудь»?

— Жизнь собираешься делать?

Колесов не смутился.

— Что ты придираешься? Я вообще сказал.

— Косноязычно, — вставил Меньшиков.

— Нет, не косноязычно, — поправил Самохин, — а очень точно. В русском языке «как-нибудь» — это «кое-как». Спусти рукава. Авось, да небось, да как-нибудь. А мы эти словечки должны из словаря выкинуть! Напрочь. Намертво.

— А ты меня не агитируй, — огрызнулся Колесов. — В одних университетах жить обучались. Как надо, так и сделаем.

— А ты знаешь, как надо? — снова спросил Самохин.

Последовавшего спора — о, если бы это был спор! — Колесов не помнил. Осталось в памяти смутное, стыдное чувство, слагавшееся из ощущения собственной неловкости, косноязычия, бедности мысли и полунасмешливого-полунедоброжелательного молчания окружающих. У каждого бывают такие провалы в памяти, услужливо вычеркивающей иногда что-то особенно неприятное. Но одно все-таки осталось невычеркнутым: этот резкий, неожиданный поворот Самохина и его суровый вопрос. А затем, как в плохом проекторе, изображение мутнело и с потемневшего, умолкнувшего экрана проникала в сердце липкая и противная жалость к себе.

После отповеди Самохина обиженный и смущенный Колесов не произнес ни одного слова. Кругом шумели, смеялись, спорили, а он нудно молчал, позвякивая ложечкой в стакане недопитого, давно остывшего чая. Кажется, говорили о человечности, притупилась или не притупилась она в послевоенный год. Разговор вел Меньшиков, твердивший, заикаясь, одно и то же — о неизбежном якобы огрубении души у послевоенного человека.

— Какой, к черту, гуманизм под минометным обстрелом, когда у соседа кишки из брюха вываливаются! А от смерти ушел — и кашу сожрешь и двести граммов примешь. И все с аппетитом! Кто вспомнит здесь о Бетховене и Моцарте? Кто извинится, толкнув товарища? Кто не тронет девушки, которой может обладать без стихов и черемухи?

— Дичь! — кричала Люда. — Это ты — пакостник.

— Все мы пакостники.

— А Веня? — тихо спросила Елена.

И все умолкли. Даже Меньшиков стыдливо опустил глаза.

Самохин вдруг поднялся, громыхнув стулом и тяжело опустив большие мужицкие руки на стол.

— Прошу встать, товарищи! — сказал он. — Я повторяю его слова, помните? Прошу встать! Еще раз повторяю: прошу встать!

Все встали молча, серьезные и внимательные, — так остро было ощущение того, что должно быть и будет сейчас сказано.

— Был среди нас только один человек, проживший жизнь по-настоящему до последнего дыхания, — продолжал Самохин с той же торжественной строгостью. — Только его душа была чиста, как самый чистый хрусталь, без малейшего помутнения. А сколько мутненького и дрянненького может выловить каждый из нас из своего прошлого! Может быть, Ленку по малости лет исключим, а каждый что-то выловит. А нам ведь еще жить да жить. И как жить! Я сейчас прочту вам несколько строк из его письма ко мне — в окопах написано. Не пугайтесь: не длинно.

Самохин поискал в кармане кителя и вытащил смятый листок письма, Елена даже наклонилась вперед, словно собираясь рвануть и взлететь.

— «Человек на войне зовется по-разному — по роду войск и воинскому званию, по специальности и должности, — прочел Самохин, полузакрыв глаза, будто читал наизусть. — Только надо помнить: он человек. Об этом нельзя забывать и сейчас, чтобы после войны не отвыкнуть. Человеческое в человеке, Колька, само никогда не умирает и не испаряется. Его можно вытоптать или выжечь, а можно выходить и вырастить».

Самохин помолчал, оглядел всех, задержался взглядом на Колесове, стоявшем позади Лены. Он снова поднес письмо к глазам и прочел:

— «Удивляешься небось, с чего это он размечтался, малахольный? Идет война, неизвестно, когда она кончится, кто жив будет, а Венька-чудак планы строит, как после войны жить. Не чудак я, Коля, а коммунист. Мой отец тоже воевал у Буденного

в гражданскую, а потом Шатуру строил. И выстроил и людей воспитал: один из них у нас в институте сопромат читал. А спроси у батьки, где же он научился людей воспитывать для мирной жизни, когда Деникина да Врангеля бить требовалось? А вот тогда и научился. Врага рубил, а думал о том, как уголь рубать придется. Вот я и в роте к ребятам присматриваюсь: может, вместе с ними по мирной земле пойдем не с автоматом, а с книжкой, с пробиркой да с геологическим молотком. Так чему же, по-твоему, я их учить должен? Гранату бросать, фрица бить да о мести думать? Да, да, да! И гранату, и фрица, и о мести. Но не только это, есть и еще кое-что. Сохранить в душе все, чему партия учила и учит, не растратить, не забыть, сберечь в себе на будущее все это — самое чистое, светлое, святое! Скажешь: агитирую, сами знаем. Знаем, Коленька, верно. Только забываем иногда. А забывать не надо...»

Самохин прочел, улыбнулся чуть-чуть, почти незаметно, былой самохинской улыбкой и сел.

— Садитесь, ребята. Вот так бы и жить надо, как он пишет. Чутьочку выпренне, зато верно. А где я ночевать буду? — засмеялся он.

— У меня, конечно, — вызвался Меньшиков.

— Почему? — поспешил вмешаться Колесов. — У меня комната больше.

— Порядочек! — сказал Самохин. — Ну, а эту избу Ленке оставим. Возражений нет?

Все смеялись и смотрели на порозовевшую девушку. Будто кто-то невидимый озорно заливал ей кармином щеки, шею, даже мочки ушей. Вот тогда Колесов, пожалуй, впервые понял, какое чудо сотворила природа с угловатой девочкой-подростком с волейбольной площадки.

— А кто комнату переклеивал? — вдруг спросил Самохин, почему-то посмотрев на Меньшикова.

— Мы с Юркой.  
— По старым обоям клеили или как?  
— Профессионально. Соскоблили и вылизали, — самодовольно пояснил Меньшиков. — Что нам, малярам, — день работам, два гулям.

Так закончилась их последняя встреча. В шесть часов вечера после войны.

*Все еще половина восьмого  
на тех же часах.*

Каждый вспомнил о ней, потому что все замолчали. Впрочем, ненадолго. Меньшиков тут же сказал:

— Как это Колька тогда: сколько мутненького и дрянненького может выудить каждый из нас из своего прошлого?

— Только не Коля, — живо откликнулась Елена.

— Еще бы! Старик праведный.

— Почему старик? Он не старше тебя.

— Редакционная привычка. У нас все старики.

А по сути дела, и я Мафусаил. Даже влюбляться разучился.

— Не огорчайся. Юра тоже разучился.

Колесов про себя отметил тон, каким это было сказано: дружелюбно и просто. Значит, воспоминания ее не растревожили. Значит, он все выдумал и опасности никакой нет — только далекий туман, приятный дымок прошлого.

Приятный или тревожный?. Почему Самохин тогда заинтересовался обоями? Даже два раза спросил. И почему он, Колесов, за все эти годы ни разу о том и не вспомнил?

— Сейчас поворачиваем, — сказал Меньшиков. — Держитесь, ребята, хлебом горюшка.

Он притормозил, сворачивая на проселок меж невысоких, но уже порывевших колхозных овсов. Широкие рытвины, про-



паханные здесь в ненастье тяжелыми грузовыми машинами, были засыпаны в наиболее глубоких местах стружками и засохшими еловыми ветками, но Колесова сразу так трянуло, что он схватился за спинку переднего сиденья.

— Привыкай, привыкай, еще минут двадцать попрыгаем. До самохинского «рая» и сквозь ад пройдем и сквозь чистилище, — сказал Меньшиков и повел «Волгу» пешеходным краем дороги.

— А помнишь... — начал было Колесов и тут же умолк, рассердившись на себя за это «помнишь»: заразили все-таки.

— Что помнишь?

— Ничего. Так.

— Давай-давай!

Колесов поморщился и нехотя выдал из себя:

— Я тот вечер вспомнил. У Самохина. После войны.

Елена обернулась и с интересом посмотрела на мужа.

— Ну и что?

— Почему он под занавес про обои спросил: срывали или не срывали?

— Верно, — хохотнул Меньшиков, — я и забыл. Кто его знает... У Кольки никогда не поймешь, что на уме. — Он помолчал и добавил, проводя машину по дощатому настилу через речушку-ручеек: — Он и тобой почему-то интересуется.

— Мною? — удивился Колесов. — Почему?

— А я что — доктор? Все статьи о твоём руднике вырезает с тех пор, как ты медь нашёл. С ребятами, кто от тебя приезжал, тоже встречался. И как бился ты за эту медь, что вытерпел — все знает. Он и за нашим братом следит: за мной и за Людкой по малости. Но ты почему-то его конек.

— Странно, — глухо отозвался Колесов.

— Ничего странного. Помнишь задачи с бассейнами? Одна труба вливает, другая выливает. Сразу даже не поймешь, что к чему. А решаются. Так и Колька.

— Странно, — повторил Колесов. Меньшикова он не слушал.

— Почему странно? — вмешалась Елена. — Просто Коля — настоящий друг.

Колесов промолчал. «Друг или враг? А если враг? — подумал он и ужаснулся. — Не может быть врагом Коля Самохин. Чужь зеленая лезет в голову».

Впереди в березовой рощице показались красные скаты крыши. Начинался дачный поселок.

— Приехали, — сказал Меньшиков, притормаживая у побуревшего, некрашеного забора.

Навстречу уже бежал кряжистый, бритоголовый человек в зеленой ковбойке навывпуск.

— Объезжайте кругом, я ворота открою! — крикнул он и побежал назад.

Меньшиков не спеша повел машину вдоль забора. Колесов и Елена с интересом всматривались в нынешний самохинский «рай». Он был невелик. Между редкими березами зеленела высокая некошенная трава, расцвеченная багрецом мака — будто рассыпали в саду по траве лукошко крупной клубники. А самой клубники не было видно — ни кустов, ни грядок. Только объехав приземистый бревенчатый дом, они увидели за ним на открытой, ничем не затененной лужайке несколько выбеленных яблоневых стволов.

— Где же плантации стяжателя Самохина? — иронически спросила Елена.

Колесов угрюмо процедил сквозь зубы, отворяя дверцу машины:

— Не придирайся.

— Мне что-то не нравится твое настроение.

— Ладно, не подведу.

От дома к машине уже приближалась худенькая женщина, удивительно высокая, с густой копной темных, нигде не посебранных волос.

— Людка, радость моя! — воскликнула Елена.

На Колесова взглянули знакомые насмешливые глаза. Его ровесница Люда Завадовская не прибавила к сорока годам ни капли жира, ни складочки под подбородком. Только три глубокие морщинки на лбу говорили о прожитых днях и пережитых горестях.

Она обняла Елену и улыбнулась Колесову:

— Солидный стал, Юрка.

— Зато ты как девчонка.

— Хороша девчонка! Помнишь сказку о худющей бабе, как ее из половой щетки сделали? Полли-параллелограмм! Так это я.

— Не напрашивайся на серенады. У меня слуха нет.

— А я всю жизнь прожила среди бесслухих. Ни замуж не вышла, ни детей не прижила. Вот и высохла. — Она чуть-чуть отстранила Елену, рассматривая ее, как дальнотворка. — А Леночка — одно загляденье. Хотя... что-то мне не нравится в тебе, Ленка. Вы не ссоритесь, детишки? Сегодня не ссорились?

«Вот ведьма!» — подумал Колесов и сухо ответил:

— Мы никогда не ссоримся. И не ссорились. И не будем ссориться.

— Как знать, — загадочно усмехнулась Люда. — А ты прав: я ведьма. У меня даже черная кошка есть.

Колесов вздрогнул и отодвинулся. Люда засмеялась залихватозвонко, как умеют смеяться только дети.

— Угадала?

— Мир входящему, — сказал, показываясь из-за машины, Самохин.

*8 часов 50 минут вечера  
на стенных часах у Само-  
хина.*

Они уже давно сидели за столом, закусывая водку жареным судаком и печеным картофелем «по-самохин-ски». Николай и теперь оставался верен традициям.

Сам он почти не изменился, только все в нем стало резче: глубже складки у губ, острее скулы, рельефнее жилы на шее и темнее узелки вен на руках. Он, как и раньше, шутил грубовато, но дружелюбно, смотрел собеседнику прямо в глаза и никогда не отводил взгляда первым. Если спросить Колесова, о чем говорилось за столом, он затруднился бы ответить. О том о сем — ни о чем. Меньшиков туманно изложил сюжет задуманной им повести о рыбаках Приазовья, Самохин рассказал о столкновении с райсоветом, о битве, выигранной им в конце концов в кабинете секретаря райкома. «Я бы и до ЦК дошел, если бы надо. Не дал бы загубить доброе дело». Суть самого дела от Колесова уплыла: не вслушивался. Мельком он слушал и Люду, вспоминавшую о каких-то случаях из практики своей районной больницы. Даже в рассказ Елены не вмешивался, хотя говорила она о последней их экспедиции, почему-то не хотелось ни о чем вспоминать. Его даже радовало, что никто не начал своего рассказа осточертевшим «а помнишь?».

Но Самохин все-таки вспомнил.

— Молодыми мы лучше были, — вдруг сказал он. — Ну о чем говорим? Бытовщинка, дела-делишки, капаем по малости: я — на исполкомщиков, Сашка — на редактора, Люда — на

склочников от медицины. А Леночку канцелярия заела: камералка, камеральный период — так это у вас, геологов, называется? А молодыми мы все другой мерой мерили, другим глазом. Главное видели, о главном тревожились. Помните нашу последнюю встречу?

— Сейчас скажет: прошу встать! Ей-богу, скажет, — отозвался захмелевший Меньшиков.

— И скажу. Только не сейчас, не сразу. Просто подумать захотелось, сравнить. С чем тогда разошлись, с каким обещанием? А как жили все эти годы? Ну, подлостей не делали, само собой разумеется. А не очерствели? Не покрылись ли корочкой равнодушия? — Он лукаво оглядел притихших слушателей. — Значит, правильно жили, так я понимаю? И ошибок не было? Ни тайных, ни явных?

Все молчали, чуть-чуть смущенные, даже растерянные, больше удивленные, чем обиженные этой неожиданной тирадой, казалось, не очень уместной за дружеским ужином, да еще в такой изнуряюще душный вечер. «А я знал, что так будет, — злорадно подумал Колесов. — Он проповедует, а все молчат. Чертов авторитет, инквизитор!»

— Моя самая трагическая ошибка в том, что я Леночку упустил, — засмеялся Меньшиков и прибавил не то серьезно, не то печально: — И женился в общем-то неудачно.

— А я замуж не вышла, — наивно сказала Люда. — Может быть, это тоже ошибка?

Колесов искоса взглянул на Самохина. Тот сидел задумчиво над невыпитой рюмкой водки. Глаза его были сухи и строги.

— Не поняли, — вздохнул он и поймал взгляд Колесова. — Может быть, ты понял, о чем я спрашиваю?

Колесов пожал плечами, не сознавая опасности. Видимо, Самохин не метил в него.

— Мое открытие долго считали ошибкой, — после паузы сказал Колесов. — Премию дали, а потом спохватились. Вот тогда бы и спрашивал.

— А сейчас нельзя?

— Сейчас я пророк. Все подтвердилось.

— Значит, не ошибался?

— Не поправляли, — буркнул Колесов и опять подумал: «Куда он гнет?»

Самохин молча отодвинул полную рюмку водки и налил вина.

— Отставить! — закричал Меньшиков. — А еще фронтовик.

— Не хочу! — упрямо проговорил Самохин. — От водки голова тяжелая, а мне думать надо.

— Над чем, Коленька?

— Узнаешь. Чей тост?

— Твой.

Самохин вопросительно оглядел присутствующих.

— Твой, твой! — нетерпеливо подтвердил Колесов. — Люда и Лена уже чирикали. Я басил. Сашка заикался. Теперь твой черед — проповедуй.

— Я проповедовать не буду, — не обиделся Самохин, — а предложить предложу. За что пьем? За находку.

— За какую?

— Кто нашел?

— И кто и что?

— Это Коля что-то нашел, — весело подхватила Люда Заводская, — не томи, Николай. Что?

— Каждый что-то нашел раз в жизни. Может, и не раз в жизни, — улыбнулся Самохин. — Вот и выпьем за находку.

— Что случилось с Колькой, ребята? — завопил Меньшиков. — То ошибка, то находка. Кладезь тайн. Сезам, отворись!

Самохин почему-то смотрел только на Колесова. Тот сидел, не подымая глаз. «Уйти сейчас или подождать для приличия? Неудобно все-таки». Ощущение опасности парализовало, держало на привязи. Он искоса взглянул на Елену: догадывается или нет? Он знал, что она смотрит на него, пока еще ничего не подозревая. Она действительно смотрела то на Самохина, то на мужа, словно почувствовав возникшую между ними связь.

— А ты не хочешь выпить за находку? — спокойно, без улыбки спросил Самохин.

— Он выпьет! — развеселился Меньшиков. — Еще бы, находка рядом сидит. Я и сам за нее выпью! — Он опрокинул в рот рюмку и крикнул: — Мне бы такую находку!

— У Юры их две, — поддержала шутку Люда. — Он и медь нашел. За одной другая.

Самохин все смотрел на Колесова. Потом спросил по-прежнему строго, без усмешки:

— Верно. За одной другая. Ты ведь нашел тетрадку, Юрка?

— Какую тетрадку?

Это спросила Елена, не Колесов. Она пыталась теперь перехватить взгляд Самохина.

— Обыкновенную школьную тетрадку в синей обложке. С картой. Чернильным карандашом нарисована, — сказал Самохин и замолчал.

Замолчали и остальные. Меньшиков и Люда, видимо поняли, что разговор принимает хотя все еще не совсем понятный, но уже не шуточный оборот.

Колесов изо всех сил старался сдержать дрожь в коленях, сохраняя при этом хмурый, однако невозмутимый вид. Не глядя на Самохина, он сказал:

— Не понимаю, о чем речь. Не понимаю твоих намеков. Не понимаю вообще, что тебе надо. Может, прекратим?

— Я только спросил о тетрадке, — произнес Самохин медленно и отчетливо и повторил: — О синей тетрадке с картой на первой страничке.

— Я их десятки исписал в своей жизни, — с деланной невозмутимостью сказал Колесов. На самом деле он испытывал страх, расслабляющее физическое ожидание боли.

— А я помню тетрадку, Юра.

В наступившей тишине, как показалось Колесову, голос Елены прозвенел на какой-то немислимо высокой ноте.

— Я вошла к тебе в палатку... еще в той, первой, экспедиции, помнишь? Тетрадка лежала на столе... с каким-то рисунком. Ты прикрыл ее дневником экспедиции.

— Не помню, — отрезал Колесов.

Он все еще боролся.

— Я еще спросила тогда, что ты рисуешь? Ты сказал: так, глупости.

Колесов вынудил себя улыбнуться.

— Конечно, глупости. Я думал о нашем домике. Помнишь, мы собирались его построить? Ну и чертил по памяти.

— Вот как... — Елена запнулась.

Завадовская громко и облегченно вздохнула:

— Как иногда просто все объясняется.

— Не совсем, не совсем, — перебил ее Меньшиков. Он говорил сухо и трезво, даже много выпив, он всегда быстро трезвел. — Не так все просто, не так. Мне подтекст интересен. Что имел в виду Николай? Ошибка, находка, тетрадка, а?

Самохин сидел тихий и непроницаемый, как желтый Будда на полочке. На Колесова он не глядел, будто потеряв всякий интерес к разговору.

— Надоело, товарищи, — сказал Колесов. — Шуточки, прибауточки, сказочки. Может, хватит? Времени мало, вечер кончается. — Он взглянул на часы.



*9 часов 20 минут вечера.*

— Пожалуй, — неожиданно мягко и добродушно согласился Самохин, — я расскажу о другой находке. Только выпьем, может быть? Тост ведь остается.

— За находку? — усмехнулся Меньшиков.

— За находку, — твердо повторил Самохин. Он все еще не глядел на Колесова. — За находку Гринчука.

— Вени?! — вырвалось у Елены.

Зазвенела упавшая на пол вилка. Но никто' даже не пошевелился.

— Гринчук тоже нашел медь, — отчеканил Самохин. — В последней своей экспедиции. Весной сорок первого.

— Где именно? — резко спросил Колесов.

— Там же, у вас. В отрогах Олочонского, где-то на склоне. Он так и назвал его Медной горой. Осыпь там, говорит, вся в голубых камешках. Окислы меди, что ли?

Колесов смотрел в переносицу Самохина, не отводя глаз. Не видел никого кругом, хотя знал, что все ждут его ответа на вопрос, который ответа не требовал. «Подумаешь, голубые камешки! Сколько их там, этого мусора!» В конце концов он процедил сквозь зубы:

— Может быть. Медь там всюду.

— Помните, он рассказывал, как отстал от партии, заблудился, по осыпи полз с вывихнутой ногой? — продолжал Самохин, не обращая внимания на реплику Колесова.

Люда призналась смущенно и неуверенно:

— Не очень помню. Что-то было такое.

— Скромничал он, — прибавил Меньшиков. — По моему, мимоходом что-то сказал. Да и шумели мы крепко. Каждый о своем.

Самохин по-прежнему не замечал Колесова.

— Мне он рассказал все уже в вагоне, по дороге в часть. Мы ведь вместе ехали. Словом, его нашли тогда в горах где-то у перевала... полумертвым — изголодался, нога опухла. Нашли звенки, охотники. В экспедиции его сочли погибшим: там нередко такое — обвалы да осыпи. А когда нашли, повезли не в Читу, а на Север, к Витиму. Было это уже на третьей неделе войны, но ни он, ни охотники ничего не знали.

— И в дороге не узнали? — перебил Меньшиков.

— Не мешай, — остановила его Люда. — Не знаешь — не мешай.

Колесов слушал как в тумане. Голоса были то близки, то едва различимы. Он сидел, полуотвернувшись от Елены, не видя ее лица. Но он знал, что оно сейчас каменное от напряжения. Зачем Самохин поднимал этот забытый пласт прошлого? Один Колесов знал, зачем.

А Самохин продолжал привычным учительским говорком, словно поясняя заданный на завтра урок:

— По реке он с оказией забрался еще севернее, в Бодайбо. Там все узнал, но двинуться уже не мог — с месяц, должно быть, провалялся, пока кто-то из местного начальства не полетел в Красноярск. Он и Веньку с собой прихватил — к этому времени тот уже выкарабкался. И в Красноярске, конечно, сразу же в военкомат. Ему ограниченную дают, а он в строй просится. Пошумел, пошумел да и уехал с эшелоном в Москву. Остальное вы знаете.

— А месторождение? — спросил, заикаясь, Меньшиков. — Кого-нибудь информировал? Я подразумеваю: официально.

— Написал будто бы из Красноярска в Ужму. Тамошним геологам, Мальцеву, кажется.

— Странно! — сказал Колесов. — В Ужме об этом не знали. Мальцевская экспедиция меди не нашла. Я-то помню.

— И я, — кивнул Самохин. — Я был в Ужме. В пятьдесят втором. Когда у вас комиссия работала.

— Зачем? — закричал Меньшиков и даже привстал.

— Что зачем?

— В Ужму ездил? Тебе-то что?

— Все то же, Сашок. Проверить хотел.

— Кого, Веньку?

— Конечно, не Веньку. Раз он сказал, что написал в экспедицию, значит, написал. Кстати говоря, не просто письмо, а подробный отчет со всеми данными, с указателем пути, даже с картой. Но письмо могло не дойти? Могло: время-то какое было, помните? И действительно, не дошло, затерялось где-то. Я все архивы там поднял — ничего!

— Господи боже мой! — ахнула Люда Завадовская. — Неужели никаких следов не осталось?

— Следы остались. Черновик отчета, написанный карандашом. В старой школьной тетрадке. Сказал, что хотел выбросить сначала: кому, мол, нужен черновик, да еще карандашный. А потом жалко стало, взял да и засунул в щель за обои. Думал так: кто в войну комнату переклеивать будет? Ну и пролежит тетрадка до его возвращения. А если не вернется, то и тетрадка никому не понадобится.

Бывает тишина, когда привычные, не замечаемые нами шумы: скрип стула, шорох руки, скользнувшей по скатерти, шелест занавески на открытом окне, даже дыхание нескольких человек в комнате — вдруг становятся неслышными, как тикание остановившихся часов. Но часы не остановились. Они гулко пробили один раз.

Половина девятого.

— Где же она? — воскликнула Люда.

— Пропала.

— Когда? Где?

— Когда — не знаю. А где? Думаю, у меня. В моей комнате.  
— В какой комнате?  
— В той, помнишь?  
— Чепуха, — возразил Меньшиков. — Мы же ее переклеивали. Все старые обои содрали.  
— Значит, ее вынули раньше.  
— А Венька сказал, где он ее спрятал?  
— Ведь я же говорил: не спрятал, а просто сунул в щель за обои.  
— Кто же вынул?

Колесов упрямо смотрел в какую-то невидимую точку на стене. Он не хотел встречаться с глазами товарищей. «Вот сейчас, именно сейчас нужно дать отпор. Иначе плохо». Колени его уже не дрожали.

— Скверный намек, — сказал он, спокойно посмотрев прямо в глаза Самохину. — Все эти разговорчики о тетрадках и находках выдают тебя с головой. В кустах прячешься, чтобы исподтишка ударить. Скажем мягко: подло это. Почему уж не брякнешь прямо, что я вор? И Венькину тетрадку нашел, и открытие его присвоил. Так?

— Замолчи! Кто тебя обвиняет? — крикнула Люда. Голос ее сорвался на гневно-визгливой ноте.

— Русской интеллигенции порой была свойственна... скажем тоже мягко... излишняя деликатность, — усмехнулся Самохин. — Я этой болезнью не страдаю. Кто обвиняет Колесова? Я обвиняю. Вернее, пока еще не обвиняю. Просто хочу узнать правду. Думаю, все мы этого хотим.

Колесов инстинктивно почувствовал, что Самохин сделал ошибку. Нужно было ее углубить.

— Я не спрашиваю, кто дал тебе право на это обвинение, — начал он, но Самохин тут же его перебил:

— Напрасно не спрашиваешь! Отвечу.

Теперь он волновался, и все это видели.

— Я знаю, что ты ответишь. Смерть товарища, да?

— Точно.

— Но откуда у тебя право на подозрение? Мы все друзья и привыкли верить друг другу на слово.

— Я и верил, пока...

— Пока не сопоставил случайные факты, — торжествующе подхватил Колесов, — и не сделал случайного вывода.

— Почему случайного?

В голосе Самохина, как показалось Колесову, уже не было убежденности.

— Потому что в твоих домыслах все спорно, все! — страстно продолжал Колесов. — Гринчук написал в Ужму, но письма не оказалось. Вдруг не послал? Ты уже сам сомневаешься. А тетрадь за обоями? Когда он положил ее, при тебе?

— Нет.

— Она могла выпасть, ее могли вынести вместе с мусором.

Самохин задумался. Люда и Меньшиков молчали, ожидая, что он скажет. Так иногда бывает в суде, когда вдруг страстность подсудимого, неотразимая убежденность его интонаций вдруг что-то поколеблют в сердце судьи. Но Самохин не поднял перчатки, брошенной ему Колесовым.

— Почему ты переклеивал комнату? — неуверенно спросил он.

— Не он, а мы, — вмешался Меньшиков. — Мы хотели сделать сюрприз Лене.

Колесов исподлобья взглянул на Елену. Она сидела по-прежнему молча, опустив глаза, и, казалось, не слышала спора. Знакомая складочка на лбу выдавала сосредоточенную в тревоге мысль. О чем?

— Ты и тогда об этих злосчастных обоях вспомнил, — сказал он. — Почему прямо не спросил о тетрадке?

— Я бы и потом не спросил. Но ведь ты... нашел медь.

— Ну и что? — закричал Колесов, уже не сдерживаясь. Накипевший в нем гнев застилал глаза. Дымный свет над столом словно потускнел, а на лицо Самохина вдруг набежал туман, заползший в открытое окно из сада.

А ведь никакого тумана не было.

— Мало ли кто что нашел, — сказал Колесов уже тише и спокойнее. — За эти годы нашли десятки крупных месторождений. Нашли и мы. И не случайно, как Гринчук. Не могли не найти. Наша экспедиция была крупнее, солиднее. Шире объем работы. Точнее методы исследований. Видел он такие спектроскопы? Нет! Что он знал о гравиметрах? Ничего. Мы прочесали Олочонский, если хочешь. Про-че-сали! — Он раздраженно замолчал и тотчас же добавил с укором: — Некрасивый разговор получился. Находка, тетрадка... А может быть, и тетрадки никакой не было?

И, словно предчувствуя, что именно сейчас, сию минуту произойдет что-то непоправимое, никто не ответил.

Только Елена сказала печально и тихо-тихо:

— Была тетрадка, Юра. Ты знаешь, и я помню.

Каким чужим и далеким показался ее голос Колесову! Будто говорил кто-то другой, не она, и не за столом в комнате, а за окном в темноте.

— Ты прикрыв ее, когда я вошла. Ты испугался.

Там был не план дома, а карта, грубый набросок местности. Кажется, карандашом. О доме мы тогда и не думали, да и вообще не предполагали скоро вернуться в город. Ты хотел найти медь и знал, что ее найдешь. А меня просто увлекала работа в поле. Какой же дом и какой план? Не обманывай! У тебя была карта Вени, записи Вени, ты с ними сверялся, им следовал. Не будем лгать хотя бы друг другу. — И, словно ей было очень

трудно выговорить это, она прибавила еще глуше: — Если, конечно...

И не договорила.

*9 часов 40 минут вечера.*

Но Колесов и так знал, что должно было последовать. Он прочел в ее взгляде все: не осуждение, не враждебность — нет! — отрешенность. Темную, тоскливую отрешенность, знакомо посмотревшую на него из далеких лет.

Он рассеянно оглядел сидевших против него. Лица их казались сероватыми, как в пыльном стекле. Но как бы вторым зрением он видел и притаившийся испуг в глазах Меньшикова, и брезгливо отчужденный взгляд Люды, и ясные-ясные, совсем без гнева и все же недобрые глаза Самохина. Сознание Колесова словно раздваивалось, он ощущал в себе двух взаимопротивоположных, непохожих друг на друга людей. Первый — поникший, раздавленный — тщетно искал застревавшие в пересохшем горле слова, второй — уже овладевший собой, злой и решительный — насторожился, готовый остановить, перебить, поправить первого, если у того не хватит дыхания для боя.

— Ты права, Лена... была тетрадка. Я глупо, по-мальчишески присвоил ее тогда... — еле слышно произнес первый Колесов, но его тотчас же перебил второй, продолжая нарочито громко и резко: — Только она не помогла мне, эта тетрадка. Да и вообще ничему не помогла... Медь нашли, не сверяясь с картой.

— Кто нашел? — спросил Меньшиков.

— Моя группа. Ленка помнит.

Колесов внутренне сжался, ожидая ответа Елены. Но она молчала.

— Значит, суд чести? — саркастически усмехнулся второй Колесов, подавляя робкий протест первого. — Очевидно, приговор уже подготовлен?

— Не фокусничай! — оборвала его Люда.

— Я только называю вещи их именами. Разве не так?

— Допустим, — принял вызов Самохин.

— Тогда у подсудимого есть право на последнее слово.

— Не фокусничай! — повторила Люда.

Тут второй Колесов окончательно подавил первого. Слов он уже не подыскивал:

— Обидно оправдываться, когда глупое мальчишество возводят в ранг преступления. Вообще я мог бы встать и уйти.

— Что же, встань и уйди, — сказал Самохин. — Это и будет твоё последнее слово.

— Не надейтесь, праведники. Язык ещё не отнялся.

— А совесть? — Самохин усмехнулся.

— Свою береги, — огрызнулся Колесов, — а моя меня не мучила и тогда, когда я тетрадку нашёл! Кстати, ничего я в ней с первого раза не понял, только потом догадался, что это его записи.

— А где же я... был? — спросил Меньшиков. Он все ещё заикался.

— Не помню. Выходил, должно быть.

— Так почему же ты ему ничего не сказал? Ни тогда, ни потом?

— А что бы он посоветовал — тетрадку в Ужму послать?

— Почему же нет?

Колесов стремительно повернулся к Люде. «Другого вопроса она задать не могла. Стоит ли отвечать?» Все-таки ответил, сдерживая опять накипающий гнев:

— Хотел проверить открытие Вени. Именно сам. Вот так. Хотите верить, хотите нет. Я понимал, что тетрадка — черно-



вик, что подлинник Венька наверняка отослал в экспедицию. Ну и что? Почти три года прошло, и если медь нашли, значит, тетрадка никому не нужна. А если нет? Если подлинник затеряли, не оценили, сунули под сукно, тогда как? Что ожидает тетрадку в руках тех же чиновников? Ведь она только скомпрометирует идею будущих поисков. А я твердо решил повторить опыт Вени, не допустить, чтобы находка — да, да, находка, черт побери! — испарилась, погибла. — Колесов говорил почти вдохновенно, с такой артистической страстностью, что тайный голос совести, укоризненно нашептывающий: «А ведь полуправду говоришь, только полуправду», — все слабел и слабел.

— Не люблю пафоса, — поморщился Меньшиков. — Ты попроще, без декламации.

Колесов даже щелкнул зубами от злости: еще один следователь!

— Я не на допросе.

— А я и не допрашиваю, я спрашиваю. Опыт Веньки решил повторить? Для кого? Для себя?

— Идиот! Для государства, конечно.

— А приоритет открывателя?

— Я даже не думал об этом, — отмахнулся Колесов, отмахиваясь и от протестующего шепотка совести: «Опять полуправда, опять!» Но его уже понесло: — Поверьте, ребята, это была мечта. Только мечта. Я и о тетрадке тут же забыл и не вспоминал до тех пор, пока в Ужму не приехал. Оказалось, как я и думал: ни о письме Гринчука, ни о найденном месторождении никто не знал. Экспедиция Мальцева вернулась ни с чем из тех же краев...

— Из тех же? — переспросил Самохин.

— Не совсем. Мальцев работал к востоку от Олочонского. А уточнить место мог только я. Но попасть туда удалось не ско-

ро — года три пришлось побродить вокруг да около. Только когда главного геолога сменили, пришел мой час. Лена помнит.

Он мельком взглянул на Елену. Она сидела, не подымая глаз, по-прежнему безучастная к окружающему. Только побелевшие кончики пальцев на краю стола выдавали ее внутреннее напряжение.

— Тогда я командовал парадом, и пошли мы сразу куда нужно. А вот нашли медь совсем не там.

Колесов многозначительно замолчал. Он знал силу паузы.

Самохин не выдержал и спросил:

— Что значит: не там?

— То и значит. Не там, где нашел ее Венька. Это было то же месторождение, но другой его выход, другая Медная гора, если хочешь. И нашли ее Скребницкий и Василенко... Ты помнишь их, Лена?

Елена не ответила.

— Это наши геологи, первыми повторившие опыт Гринчука. Но добрались они туда другим путем, с юга, не с запада. Я тогда сверил их данные по Венькиной карте: ничто не совпадало. А ведь нашли. Я и говорю, что ее все равно бы нашли. Любая экспедиция в этом районе.

— Но ты знал об этом районе, — сказал Самохин.

— Добрались бы и до него когда-нибудь.

— Но ты знал раньше, а не когда-нибудь.

— Я мог бы узнать и от Веньки, если бы он рассказал об этом.

— Но он не рассказал.

— Он тебе рассказал.

— Но не тебе.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Неужели не ясно?

Бывают удары, сразу сбивающие с ног. В боксе это называется «послать в нокдаун». Редко даже опытный и сильный боец выходит из нокдауна в прежней форме. Он хоть немного, да ошеломлен, хоть чуть-чуть, да надломлен. В такой нокдаун послал Колесова Самохин.

— Так почему же ты умолчал о чужом открытии?

Колесов вышел из нокдауна. Он тяжело дышал и опять с трудом сдерживал дрожь в коленях, но не мог сдерживать.

— Потому и умолчал, что не хотел отнимать его у товарищей.

— И у себя, — насмешливо подсказала Люда Завадовская.

Глаза ее холодно поблескивали, как две льдинки. «Старая дева», — выругался про себя Колесов и сказал вслух:

— О себе я думал меньше всего. Но мертвый Гринчук наделил бы живых. Он сам бы не захотел этого.

— Не будем решать за мертвых. Главное — ты этого не захотел, — снова возразила Люда.

Колесов пожал плечами: какой прок от спора со злой, бессердечной бабой. «Ты и высохла оттого, что тебя никто не любил».

Молчание повисло черной грозовой тучей. Вот-вот прогремит гром.

— Мне все ясно, — сказала Завадовская.

Нет, это еще не гром.

— Все ли? — загадочно спросил Самохин.

И это еще не гром, хотя Люда взглянула на него почти с испугом: о чем он?

— И мне не все. Чепуха получается в общем. Ведь премию получил не он один, а и его геологи. Лена тоже. А они даже не знали о тетрадке. Что ж выходит: живые искали, живые нашли,

а мертвому Веньке слава? — Меньшиков уже не заикался, только серые глаза его почему-то избегали Колесова.

Колесов перехватил пристальный взгляд Самохина, устремленный на Елену. К ней обернулась и Люда. Почему-то всем показалось, что сейчас, именно сейчас она что-то скажет.

И она сказала:

— Да, мертвому Веньке слава. И я и все мы в экспедиции отказались бы от нее, если бы знали, что она краденая.

Вот он, гром! Вот она, гроза, которой в самой темной глубине души своей так боялся все эти годы Колесов. Он внутренне подобрался весь, как бывало в минуты воздушной тревоги: недобрый дух вызвал Самохин.

Что-то новое, или, вернее, старое, давно знакомое, почудилось Колесову в лице Елены. «Ленка-волейболистка!» — подумал он. Нет, не Ленка-волейболистка, веснушчатая озорница с ее школьно-пионерским правдолюбием, — хуже, страшнее: медицинская сестра Часовникова, потерявшая на фронте любимого. «У нее душа как открытая рана, — сказала тогда Люда, — будь осторожней, Юра, не задень нечаянно. Не простит». А он задел.

— Прошу встать! — сказала Елена.

Все недоуменно переглянулись. Никто не встал. А Меньшиков протянул неохотно:

— Ну зачем это, Лена? Может, не стоит?

— Я сказала: прошу встать! — глухо и строго повторила Елена.

Первым громыхнул тяжелым стулом Самохин, разглядывая ее с любопытством. Тут же поднялись и Люда, и недовольно сопевший Меньшиков. «Дурака валяем», — озлился Колесов, но тоже встал. На Елену он не смотрел.

— Когда мы прощались тогда... осенью сорок первого... — продолжала она медленно-медленно, как бы с трудом подбирая слова, — мы обещали друг другу жить светло... жить крупно, не

размениваясь... по чести жить, чтоб «лжа душу не съела»... Твое выражение, Коля. Кто-нибудь сейчас скажет: ребячество, детство... Неправда! То была заявка на мечту... на будущее. А сейчас, когда итоги подводим, где она, эта мечта? Один из нас сподличал и полжизни эту подлость в душе пронес.... Съела лжа душу, Коля!

Она провела рукой по глазам, словно отстраняя что-то, мешающее ей, и растерянно огляделась на стоящих вокруг.

— Кажется, я не то говорю.... Хотела о памяти Вени.... Но, может быть, и правда не стоит? — Она не села, а упала на стул, спрятав лицо в судорожно сжатых ладонях.

Молча, со смутным чувством неловкости, стараясь не смотреть друг на друга, сели и остальные. Невыносимая тяжесть утраты вдруг навалилась на Колесова: неужели конец?

Пауза снова наливалась свинцовой тучей.

*Без пяти десять на тех  
же часах.*

Погоди, — сказал Самохин, — не торопись.

Он подвинулся ближе к Елене и широкой своей лапищей отнял от лица обе ее ладони.

Вот так.

— Не надо, Коля.

— А что надо? Надо мыслить исторически, а не истерически.

— Из сборника изречений Николая Самохина, — засмеялся Меньшиков и мельком взглянул на часы.

— Не спеши. Мы еще не кончили.

— А не поздно, Коля? Ехать далеко.

— У тебя машина. А потом, как думаешь: человека мордой об пол — и домой?

— Может быть, на поруки взять? — иронически спросила Люда Завадовская.

«От этой пощады не жди, живьем проглотит», — подумал Колесов и сказал не без яда:

— Приговор еще не вынесен.

— Тебе, Юра, сейчас лучше всего помолчать, — обернулся к нему Самохин. — Мы никого не судим. Мы только выясняем, кто как жил эти годы. Выясняем, а не выяснили, — подчеркнул он в сторону Люды.

— По-моему, выяснили, — отрезала та.

— Не знаю. Сашке не все ясно, да и мне, пожалуй.

— А что разьяснять? Подлость есть подлость, ложь есть ложь.

— А тебе никогда не приходилось лгать? Никому?

— Станный вопрос. — Люда на секунду задумалась и прибавила еще уверенней: — Думаю, нет.

— А больным?

— Профессиональная этика это разрешает.

— А совесть?

— И совесть. Она не противоречит профессиональной этике.

— Ну, а во имя жизни, во имя счастья — не больного, просто человека?

— Ложь во спасение? Старо, Коленька. Ладаном пахнет.

— Не ощущаю.

На матово-желтых щеках Люды проступили красные пятна.

— Не понимаю, какое отношение это имеет к делу Колесова.

Теперь уже рассердился Самохин.

— К делу Колесова, к делу Колесова, — повторил он, — понравились вам юридические термины. Ну что ж, дело так дело.

Обвиняемого допросили? Допросили. Прокурор выступил? Выступил. А защитник? Надо выслушать и защитника.

— Ты имеешь в виду себя?

— Именно.

Меньшиков, с веселым любопытством внимавший словесной дуэли Самохина с Людой, совсем развеселился:

— Ну и поворотик! На все сто восемьдесят.

Люда демонстративно пожала плечами. Елена оставалась по-прежнему безучастной.

Колесов насторожился, ожидая подвоха. Он не верил в защиту Самохина. Тут что-то другое, но что? Какие еще тайны в его жизни мог открыть Коля Самохин, если он, Колесов, жил все эти годы, как на площади, у всех на виду? Только бы не тянул, скорее бы выкладывал карты.

Но Самохин именно тянул, будто пасьянс раскладывал.

— Почему я сказал: выясняем, а не выяснили? Не всем еще ясно, оправдался ли Колесов, поверили мы ему или нет. Люда с Лёной не верят, Сашка колеблется, а я... я, честно говоря, заранее знал, что он скажет. Действительно, его геологи нашли медь, никто не знал ни о письме Гринчука, ни об его тетрадке. Я и в том не сомневаюсь, что это же месторождение было бы в конце концов открыто любой экспедицией в этом районе. Но что направило эту экспедицию именно в этот район? Только ли побуждения Колесова?

И, не давая ответа, не ожидая ответа, Самохин, вдруг подмигнув Колесову, спросил еще раз:

— А ведь ты умолчал кое о чем, что тебя оправдывает. Почему?

— Не понимаю, — пробормотал Колесов. — Ты о чем?

— О твоём разговоре с Мальцевым.

«Вот оно», — подумал Колесов и с явным облегчением вздохнул.

— О каком разговоре? — сказал он с картинным недоумением, чтобы затянуть время. — Что-то не помню.

— Странная забывчивость. Разве не Мальцев определил район твоей экспедиции? Ведь он прямо тебе сказал, что поиски медной руды следует вести именно в отрогах Олоchonского. Был такой разговор?

— Ну, был, — неохотно признался Колесов. — А ты откуда знаешь?

— Я же был в Ужме. Кстати, Мальцев сам предполагал возглавить экспедицию?

— Не помню. Но кто тебе рассказал в Ужме? Странно.

— Странно другое. Почему ты никому об этом не рассказал?

— Почему, почему... — раздраженно повторил Колесов. — Я думал, вы и так поверите. Друзья все-таки.

— Дружба дружбой, а правда правдой. В твоих интересах было вспомнить.

Колесов мельком оглянулся на сидящих за столом. Меньшиков подвинулся ближе, стараясь не проронить ни слова. Люда слушала с откровенной враждебностью. В чужих, по-прежнему замороженных глазах Елены Колесов прочел только минутное холодное любопытство.

— Не вспомнилось, — вздохнул он. — Я вообще не думал о Мальцеве...

Разговор, о котором напомнил Самохин, состоялся в тихий, обеденный час, когда в кабинете, кроме Колесова никого не было. Мальцев ткнул пальцем в карту на стене, испещренную кружочками, треугольниками и квадратами — пометками вернувшихся экспедиционных партий, — и, вздохнув, признался:

— Не там надо было искать, а поближе, южнее. Вот здесь.

Колесов содрогнулся. Ноготь Мальцева прочертил тоненькую черточку в отрогах Олоchonского хребта именно там, где ее



видел сам Колесов. Он с закрытыми глазами мог бы провести ту же черту на карте.

— Чему удивляешься? — засмеялся Мальцев.

— Вашей уверенности, — нашел слова Колесов. Он уже овладел собой, подавив охватившее его беспокойство. — Севернее, южнее — какая разница? Места сходные.

— Не совсем. Бродил там еще до войны. Кое-что приметил. А в том, что нас на север занесло, я не один виноват. Тут и Залужный руку приложил.

Колесов чуть не заплакал тогда, после этого разговора. Предположение Мальцева его не ущемляло: все равно бы его включили в экспедиционную партию. Но делить славу с начальством?.. Не об этом он мечтал.

Злая к другим судьба вдруг пришла ему на помощь.

Через несколько дней стало известно об аресте Мальцева. За что — тогда не спрашивали. Все, последовавшее в ближайшее время, и свое собственное назначение главным геологом Колесов воспринял как перст благоволящей к нему судьбы.

Но Самохин, видимо, не разделял этой убежденности.

— Значит, не думал о Мальцеве, — повторил он, — и после не интересовался?

— Почему я должен был интересоваться судьбой Мальцева? — вспыхнул Колесов, — Мы не родственники и не друзья. А работал я не в прокуратуре.

— Я тоже не в прокуратуре. А вот поинтересовался.

В словах Самохина прозвучал не только укор, но и намек, вернее, призыв, совсем не злой, безгневный, даже деликатный призыв что-то вспомнить без дальнейшей подсказки. Но что? Иногда в шахматной партии противник делает неожиданный, как будто никуда не ведущий и ничего не дающий ход. Однако только как будто. Понимал ли это Колесов? Но он молчал.

— К твоему сведению, — медленно, подчеркнуто продолжал Самохин, — Мальцев полностью реабилитирован.

Самохин опять не поставил точки.

Не только Колесов — Меньшиков и Люда тоже насторожились, почуввав опасный поворот темы. Но ни в самохинских интонациях, ни в его необидной улыбке, ни в его щедро открытых глазах ничего нельзя было прочесть.

— Мальцев сейчас в Москве, на пенсии. Мы виделись с ним в прошлом году.

«Нечестно, Самохин, — сказал взгляд Колесова, — сзади бьешь. Зачем вы виделись, ясно, и что наговорил тебе Мальцев, тоже ясно. А вот как мне объяснить, что никаких карьеристских побуждений у меня тогда не было?»

Колесов тут не лукавил. Он не рассчитывал на арест Мальцева и на свое назначение главным геологом.

— Между прочим, Мальцев не считает тебя виновным.

— В чем? — насторожился Колесов.

Но Самохин не нападал. Он продолжал даже сочувственно:

— Не ты проголосовал — тобой проголосовали.

— За что... проголосовали? — спросил Меньшиков и даже приподнялся от волнения.

В какую-то долю секунды, не глядя на Елену, Колесов поймал взглядом ее движение. Она вздрогнула, посмотрела на него и отвернулась. «Вспомнила».

Терять было нечего.

— На заседании бюро я присоединился к требовавшим его исключения из партии, — резко отчеканил Колесов и с облегчением вздохнул. Все самохинские козыри кончились.

— Та-ак... — протянул Меньшиков и замолчал.

Люда Завадовская засмеялась.

— Я бы не взяла тебя в защитники, Коля.

— Не торопись, — сказал Самохин, — я еще не кончил.

Колесов машинально поправил сбившиеся на лоб волосы. Лоб был холодный и потный — нелегко давалась Колесову эта встреча с прошлым. Он никогда не был под судом, никто его никогда не допрашивал, да и совесть не тревожила его в бессонные ночи. А сейчас она словно отделилась и отдалилась от него, воплощенная в самом близком ему человеке. И ее молчание было тревожнее открытой враждебности Люды и загадочных виражей Самохина.

— Мальцев категорически утверждает, что нашел бы медь с Колесовым или без Колесова — словом... без путеводителя, — продолжал Самохин, нажимая на последнее слово, — такая экспедиция была уже запланирована. Когда я рассказал ему о тетрадке Гринчука, он засмеялся: случайность, мол, не сыгравшая решающей роли в разведке. Открытие крупного месторождения меди не просто удача Гринчука или ловкость рук присвоившего эту удачу Колесова, а плод коллективной мысли, труда и знаний многих людей. «Есть и моя долька там». Так и сказал. Присвоил или не присвоил тетрадку Колесов.

— Присвоил, Коленька, — насмешливо перебила Люда.

— Пусть так, — отмахнулся Самохин, — я не оправдываю дурных помыслов или поступков. И не затем я добивался этой встречи, чтобы их вспомнить и осудить...

— А зачем? — спросил Меньшиков.

Колесов не выдержал и закричал:

— Зачем? Чтобы разоблачить Колесова, назвать его подлецом и вором! Потребовать, чтобы гнали его с работы, из партии, из науки!

Он почти задышался, никого и ничего не видя перед собой, — все кружилось, сливаясь не то в дыму, не то в тумане. Только окрик Самохина вернул его к действительности.

— Хватит! — отрезал тот. — Я думал, ты умнее. Я мог бы сделать это еще в Ужме. Нашлись бы любители скандальчиков, ухватились бы за эту ниточку...

Опять сухой смешок Люды:

— А ты не дал. Из человеколюбия?

— Я не так легко теряю доверие к людям, особенно к тем, кого я любил и кому верил. Толкать падающих не моя специальность. А если человек только поскользнулся, оступился, сорвался, быть может, но не упал...

Опять смешок Люды:

— Думаешь, не упал?

«Людка на своей стезе, — внутренне усмехнулся Колесов, — боярыня Морозова. Ну, отвечай же, отвечай...»

Но Самохин ответил не сразу: сказалась привычка педагога подумать перед ответом.

— Откуда ты знаешь, упал или не упал? Была ты возле него, когда судьба месторождения повернулась на сто восемьдесят градусов? Когда прекратились изыскания, приостановились работы по открытию рудника? Ленка вон была, она помнит. Что же молчишь, Лена? Вероятно, не только банкеты с шампанским помнятся, а и горечь бессонных ночей. Были такие у вас? Были, уверен. И долгие разговоры за полночь, споры, сомнения — все в накале борьбы за рудник. А я следил за этой борьбой не только по газетам. Я встречался — и мне рассказывали. Я писал — и мне отвечали. Уже то, что Юрка не упомянул здесь об этих годах, не сослался на них, на него работает, на его честь. А ведь был у него один разговор, какой сразу дал бы ему победу — и легче легкого, только спрячь совесть в карман поглубже. Я имею в виду твою встречу с Клушанцевым, — видишь, и об

этом наслышан, — усмехнулся Самохин, — могла бы она повернуть судьбу рудника?

— Еще как! — сказал Колесов.

На какое-то мгновение ему даже показалось вдруг, что на месте Самохина сидит перед ним — точь-в-точь как тогда сидел — маленький, лысенький, похожий на ксендза, человек, грозный председатель министерской комиссии Аким Львович Клушанцев и произносит таким ласковым, воркующим говорком:

— Поскольку мы с вами сейчас одни, уважаемый Юрий Петрович, ибо все живое в поселке, включая и супругу вашу, смотрит кинопередвижку, а в предбанничке перед кабинетом нет ни души — я это уже проверил, — и микрофонов с магнитофонами у вас не имеется, я скажу откровенно: богатейшие у вас залежи, Юрий Петрович. Да-с, богатейшие.

Он улыбался и сиял так близко и ненатурально, как подсвеченная луна на клубном театральном заднике. А Колесов, знавший повадку Клушанцева, погубившего немало изыскательских репутаций, стиснув зубы, молчал и ждал.

— Я мог бы так и написать в своем отчете, уважаемый Юрий Петрович. Именно так — могу позволить себе роскошь откровенности. И члены комиссии с уважением подпишут. А главное — из одной любви ко мне. Умею выбирать себе спутников, знаете.

Колесов передернулся, но промолчал. А Клушанцев вдруг снял улыбку и заворковал уже не сытым, а голодным, злым голубем:

— Но я такого заключения не дам, уважаемый Юрий Петрович. Я человек не своей воли и не доброй воли. Не доброй к вам, разумеется.

— Имеете указания? — глухо спросил Колесов.

— Зачем указания? Имею способность угадывать тайные помыслы начальства, так сказать, поддонные движения души. Не сумели понравиться Ване Георгиевичу — пеняйте на себя. Будете принесены в жертву наверняка.

— И вместе со мной огромное государственное богатство? Не жаль?

— А где оно, это богатство? Я его не нашел.

— Не понимаю вашей игры, — сказал Колесов.

— Просто играем по-разному. Вы — крупно, я — по маленькой. Ваша ставка — рудник, а у меня очередь на «Победу» подходит.

В первый раз после войны Колесов потерял контроль над собой. Комиссия Клушанцева была далеко не последней ложкой дегтя, которым пытались залить рудник ведомые и неведомые Колесову чиновники, но эта «роскошь откровенности» перехватила ему горло нестерпимой судорогой тошноты. Он привстал и наотмашь тыльной стороной кисти ударил по лицу сидевшего перед ним человека.

Клушанцев отшатнулся, чуть не упал, но тут же вскочил, еле удержав равновесие, и попятился к двери, приговаривая свистящим шепотом:

— Лечить надо нервы, уважаемый. Нервы лечить...

И, только открыв дверь, проговорил спокойнее:

— О происшедшем умолчу. Не из жалости к вам — просто не люблю скандалов. Да и вам болтать не советую, учтите.

Колесов подождал, пока закрылась дверь, подошел к окну, но увидел только пожухлую траву с каменистыми плешами и выходящую в горы тропинку. Моросил мелкий сетчатый дождь, и с каждой минутой росло сознание непоправимости случившегося. С этим ощущением он и рассказал все вернувшимся раньше других Бородину. Сопровождавший комиссию Бородин был единственным представителем ужиминского начальства

в поселке и единственным, по мнению Колесова, человеком, которому можно было рассказать все без утайки.

Бородкин так долго молчал, что Колесов наконец не выдержал:

— Ты что молчишь?

— Худо, — сказал Бородкин.

— Ты о пощечине?

— Все худо. А главное — ты ничего не можешь сделать.

— Как? — растерялся Колесов. — А если...

— Что — если? — перебил Бородкин. — Кто тебе поверит?

Колесов едва нашел слова:

— Ты же веришь.

— Неофициально. Свидетелей у тебя нет. Он так повернет дело, что ты же в дураках останешься. И в дураках и в клеветниках. Хорошо, если «строгачом» отделаешься.

— Что предлагаешь? — спросил Колесов.

— Ничего, — отвел глаза Бородкин, — подумай.

Колесову вспомнилось, как однажды на рыбалке у него выскользнула из рук большая увертливая рыба. Уж очень похож был на нее Бородкин.

— Повторяю, я глух и нем. Ничего не слыхал, ничего не знаю. Вероятно, он будет молчать и мстить. Ты тоже не трепись, отбивайся по малости. Не на век же рудник закроем. А закроем наверняка. Зря ты в Москве с Гванелия не поладил. Чуешь, чей корешок?

Уходя, Бородкин по привычке оглянулся и добавил, доверительно понижая голос:

— Я бы на твоём месте и жене не говорил. Она у тебя из неожиданных. Кто знает, где прорвется?

От разговора с Бородкиным на душе у Колесова остался липкий осадок. Понял, что ошибся в Бородкине, и ошибся давно. Но Елене он все-таки ничего не сказал. Самохин выра-

зились неточно: были бессонные ночи, но не у нее. Колесов не тронул ее ночей. Шел рядом, а не делил тайных тревог и страхов.

### *Четверть одиннадцатого.*

— Мальцев каким-то образом узнал о твоей истории, когда вернулся, — сказал Самохин. — Он был убежден, что тебя шантажировали.

— Было дело, — нехотя произнес Колесов.

— А ты?

— Что я? Свидетелей не было. Смазал по роже — и все.

— Ой! — завопил Меньшиков. — И ты молчал, мушкетер! Хоть бы мне написал — все-таки пресса.

— Я и в ЦК писал, — Колесов вздохнул. — Добился новой проверки. В общем, драчка с кровью была. Несколько лет подряд без антрактов.

— Как мало я тебя знала, Юрий! — вдруг сказала Елена.

Всем стало неловко. Нечаянно или нарочно она обнажала тайное в их отношениях.

— Вот мы все и выяснили, — снова заговорил Самохин, намеренно сбивая паузу. — Я только хочу спросить: мог бы Венька, чистый, хрупкий, болезненно ранимый Венька, оказаться он на месте Колесова, отстоять открытую им руду?

— Не знаю, — задумчиво произнес Меньшиков.

— Нелепый вопрос, — откликнулась Люда.

— Нет, только к вопросу о чистоте человеческих побуждений я прибавил вопрос о государственных интересах.

Самохин еще не закончил фразы, как Елена стремительно поднялась, по-прежнему строгая и недоступная.

— Извини меня, Коля. Мне нужно побыть одной.



Она быстро пошла на веранду. В стеклянном квадрате двери мелькнула прядь ее волос, вздыбленная вечерним ветром, и исчезла в густом синеватом сумраке сада.

— Не повезло тебе, старик, — сочувственно заметил Меньшиков. — Не забыла она его.

— Его никто не забыл, — подхватила Люда, но посмотрела при этом не на Меньшикова, а на Самохина. — Я ошиблась, Николай. Ты Плевако. Неотразимо блистателен. Только для чего тебе понадобился этот юридический фейерверк?

«Действительно, для чего?» — чуть не вскрикнул Колесов, но не успел. Самохин уже подымался, медно-багровый, снова опершись обеими руками о стол. Вены на них взбухли и посинели.

— Для чего? — переспросил он с вызовом. — Неужели никто не понял? — Какая-то тоскливая нотка вдруг прозвенела в его голосе. — Разве, когда мы собирались вместе и сначала Венька, потом я просили всех встать, мы устраивали спектакль? Фейерверк? Или сегодня Лена? Тоже фейерверк? Ведь это совесть ее требовала! И моя совесть потребовала: сказать все Колесову в вашем присутствии. Почему раньше не сказал, знаете. А вот совсем промолчать не мог, пожалуй — не пожалел. Не может человеку такая жалость!

— Значит, помочь хотел? — спросил Колесов, прикусив губу, чтобы не дрожала. — Долго же ты собирался. Ну, а если бы не встретились, тогда что? Изложил бы все в письменной форме?

Самохин засмеялся с детским торжеством — точь-в-точь пятиклассник, перехитривший товарища.

— «Если, если»... — передразнил он Колесова. — Не могло быть «если», мил друг. Я знал, что ты приедешь, когда работы закончатся. И Людмилу письмом вызвал. Люда, подтверди.

— Честно говоря, я так и не поняла, зачем тебе понадобилась.

— Зачем? — закричал Самохин так громко и гневно, что Люда испуганно отшатнулась назад.

Лицо его побагровело, губы вздрагивали. Но он сдержался, провел рукой по лбу, словно пытаясь разгладить набежавшую складку. И складка исчезла. «Умеет, черт, владеть собой, — подумал Колесов, — сразу остыл!»

Самохин действительно остыл.

— Извините за крик, ребята, — погорячился. Грустно, что понимать разучились.

— Я-то понимаю, — сказал Меньшиков.

— Еще бы тебе не понять: ты писатель. Вот и напиши, как приходит в чьей-то жизни час, когда в эту

жизнь другим надо вмешаться. Мне вот так думалось: сначала мелко сподличал человек, потом крупно сподличает. А крупно — удержался. Первый раз случай помог, второй раз — совесть заговорила. А что, если в новом испытании — мало ли их еще будет! — смолчит вдруг совесть, заплывет жирком самодовольства, равнодушия? А после такой встряски уже не заплывет, не смолчит! Полжизни человек прожил, так пусть другую половину жизни проживет светлее и чище. И проживет, я верю.

— А я не знаю. — Люда поднялась, по-прежнему не смягченная. — Может быть, ты и прав, Коля. Только я из тех присяжных, которые слушают не прокурора и защитника, а свое сердце. Мое не прощает. Извини, Юра, что друзьями не расстаемся, — такой уж я уродилась. Ты отвезешь нас? — она обернулась к Меньшикову. — Я пройду в сад пока, Лену поищу.

И вышла из комнаты. А Меньшиков снова начал заикаться:

— Ты с нами или как?

— Вежливый народ — братья писатели! — съязвил Колесов. — Нет, конечно, я поездом поеду... Далеко до станции? — спросил он Самохина.

— Минут двадцать, — ответил тот. — Да ты не спеши, мы еще потолкуем.

*2 часа ночи на ручных часах Колесова.*

Он только что осветил часы спичкой. Она догорела и погасла, погрузив их в уже расступающуюся сероватую темь. Колесов шел впереди по лесной тропинке, блуждавшей меж бесформенных, непонятных кустов и посеребренных луной рыжих корабельных сосен. Рядом, нетерпеливо отбрасывая ногой соновые шишки, неотступно шагал Самохин.

На поворотах тропинки Колесов не задерживался — ему было все равно, куда идти. На последний вечерний поезд в Москву он давно опоздал: проговорили с Самохиным на терраске до полной, неуместно карнавальной луны на предгрозовом небе.

Елена уехала, даже не простившись. Колесов оставался один за столом, пока все толпились во дворе у машины Меньшикова. Потом вошла Люда и сухо посоветовала Елену сегодня не беспокоить: в гостиницу она не поедет, а останется ночевать у нее.

— Что ты смотришь зверем? — сказала Людмила, — Ленку настраивать против тебя не буду. Сами разберетесь.

Колесов криво улыбнулся и не ответил. Люда права: Лену действительно лучше пока не трогать. Хуже, чем сейчас, не будет.

Минуту спустя машина ушла. В комнату вошел Самохин.

— Выйдем на терраску, душно что-то, — предложил он, забирая с собой недопитую бутылку коньяку. — Допьем.

— Есть за что? — зло фыркнул Колесов.

— По-моему, есть.

На открытой, незастекленной терраске было чуть свежее, хотя воздух, казалось, застыл, нагретый за день. Ни малейшее дуновение ветерка не колебало ситцевых занавесок. Даже листья клена над террасой висели неподвижно, как искусственные.

Колесов пил коньяк мелкими глотками, по привычке согревая рукой бокал. Самохин выпил сразу и сморщился. «Из-за меня пьют. Зачем? Думает, склеить можно?» — подумал Колесов и вздохнул.

Чернильная туча, медленно наплывающая из-за горизонта, еще не добралась до них, но ее сизые облака-разведчики уже мчались мимо. Ветер дул где-то высоко-высоко, не задевая самохинскую веранду и нависших над ней деревьев. Странная, душная тишина нагнеталась с каждой минутой, не обостряя, а усыпляя мысль. Самохин щелкнул выключателем — лампочка не зажглась.

— Уже выключили свет, перестраховщики.

— Гроза будет, — лениво заметил Колесов.

— Не будет грозы. Краем пройдет на Выжловские заводы. У нас всегда так: кругом льет, а здесь Сахара.

Разговор не клеился.

— Скучаешь здесь? — вдруг спросил Колесов.

— Почему? Есть соседи, есть жена и телевизор, — засмеялся Самохин и в упор взглянул на Колесова. — Не о том разговор у нас, Юрка. Не хочешь говорить по душам — катись! Топай на станцию, пока грозы нет.

— Черт с ней, с грозой!

— А с разговором?

— Не приставай.

— Нет, мил друг, не отвертись.

— Отстань! — крикнул Колесов и отвернулся.

Коньяк они допили в молчании, так и не услышав последний поезд в Москву. Дальние здесь не останавливались, а утренний уходил на рассвете. Самохин предложил было переночевать, но Колесов отказался:

— Какой уж сон! Пойду по лесу поброжу.

— И я с тобой.

— Боишься?

— За таких, как ты, не боятся. Я тебя, мил друг, хорошо знаю. И Лену знаю. И всех вас, дорогие мои человеки. Одного только хочу, чтоб до смерти еще разочка три вот так встретиться.

— Только не так, — усмехнулся Колесов.

— От нас зависит. Поднять рюмки локоть к локтю и сказать: прощу встать!

— Идеалист ты, Самохин.

Теперь в лесной темноте он готов был снова повторить это упорно не отстававшему товарищу. Правдолюбец! Что помешало Колесову сорвать этот спектакль? Ведь Самохин, по существу, ничего не прибавил к его объяснению. Только вытащил на поверхность все самое липкое. Стукнуть бы кулаком по столу и уйти, хотя бы из чувства собственного достоинства. Какое ему дело, в конце концов, до их доверия или недоверия? Не виделись сто лет и еще столько бы не увиделись! А он сидел, и потел, и перехватывал их косые взгляды, и слушал, и отвечал на унижающие вопросы Самохина и оскорбительные реплики Люды. Что-то более сильное, чем чувство собственного достоинства, пригвоздило его к столу, высушило горло, зажгло нестерпимым стыдом лицо. Колесов знал, хотя и боялся, не хотел признаться в этом даже себе самому, что это совесть. Шестое чувство, где-то спавшее и вдруг проснувшееся и сурово диктовавшее неожиданные слова и поступки. Шестое чувство, у ко-

того — Колесов и это знал — были свои глаза, свой голос и свое человеческое имя. Он знал, откуда у него этот тайный, подсознательный страх! А что бы сказала на это Елена? В самых глубоких тайниках души, в самых темных ее коридорах Колесов поджидал этот вопрос, подвергавший сомнению, казалось бы, все несомненное и нестыдное, и справедливое, может быть.

— Я же говорил, — сказал Самохин. — Мальцев тебя ни в чем не винит.

— А она винит! — закричал Колесов и добавил тихо: — Она совесть моя, Самохин.

— Хорошо, что живая у тебя совесть!

Колесов яростно ударил ногой светящуюся гнилушку. Тусклый комочек света рассыпался в черноте кустов и погас.

— Разбил ты мое счастье, Самохин. Как эту гнилушку, разбил!

— Если оно настоящее, не разбил. А если гнилушка, не жалко.

— Все ты упрощаешь, Самохин, — вздохнул Колесов.

Он вспомнил, что уже раз обвинил в этом Самохина, в разговоре на терраске за коньяком. Самохин не обиделся.

— Гейне помнишь? — засмеялся он. — «Брось свои иносказания и гипотезы пустые! На проклятые вопросы дай ответы нам прямые».

«Такой уж человек Самохин, — примиренно подумал Колесов. — Прямолинейно живет, не сворачивая. И что-то роднит его с Ленкой, как часы одного завода. А ты сверяй свои по этим часам до конца жизни. Хорошо, если можно будет сверять».

Сейчас Колесов уже не смотрел на часы, а только следил, как исчезали серебряные блески на сосновых стволах. Все вокруг приобрело вдруг мутно-серый оттенок, как на плохой фотографии. На лужайках за клубился туман.

— Станция, — сказал Самохин, нащупав асфальтовую дорожку в туманном облаке, плывшем под ногами. — Вот и поговорили по душам.

*3 часа 15 минут на станционных часах.*

Часы на столбе у кассы медленно поплыли назад, к хвостовому вагону. Колесов выглянул из окна и помахал рукой, прощаясь с Самохиным. Они почти час просидели тут на сырой скамейке в ожидании начинающего день поезда. А сейчас он уходил, и Николай все больше отдалялся — одинокая смешная фигурка на чуть тронутой солнцем платформе. Милый старик Самохин!

Колесов устало опустился на деревянный диван у окна. Он был единственным пассажиром в вагоне в этот ранний утренний час. Одиночество успокаивало. Тихое позвякивание раздвижных дверей, высокий аквамарин неба, солнечные полосы на полированных вагонных диванчиках, холодильник безделья. Закроешь глаза, и кажется, что текут впереди темные-темные воды, и нет берегов, и только где-то далеко в черноте хрупкий, но обнадеживающий огонек бакена.

Вспомнились строчки: «Ты ко мне не вернешься, предсказатель на картах погасил за целковый вспышку поздних лучей». Кто же предсказатель? Самохин? Самохин предсказал другое. Это он зажег огонек бакена.

Колесов точно знал, что будет дальше. Поезд придет в Москву. Суета на перроне. Темноватый вестибюль гостиницы. Колесов поднимется в лифте, пройдет длинный безлюдный коридор, спросит ключ от номера у заспанной горничной, войдет в пустую, уже нежилую комнату и долго-долго будет стоять на балконе над полусонной улицей, провожая взглядом фиолето-

вую дымку, плывущую вниз, к Манежу. Может быть, в той дымке вспыхнет огонек бакена? Нет, не вспыхнет.

Потом он пройдет в ванную, примет душ, побреется и напишет записку Елене на чистом листке из блокнота. Что-нибудь сдержанное, дружеское, без подтекста.

«Уехал на заседание в министерство. Если предложат заменить Марфина на Сахалине, видимо, соглашусь. Что ж подделаешь, — кому-нибудь надо ехать. Все равно отпуск сломался».

Заседание пройдет как обычно. Какая разница, когда подойдет вопрос о Марфине — в середине или в конце! Все равно Василий Витальевич оглянет всех колючим, прикидывающим взглядом, пожует губами и, смотря в глаза Колесову, спросит: «Так кого же пошлем, товарищи?» И Колесов ответит с достоинством: «Если не возражаете, могу поехать я. С отпуском подожду».

Хорошо бы сказать все это спокойно, без хрипотцы или дрожи в голосе. Можно еще сто раз все продумать, благо на часах только половина четвертого, и небо бездумно-голубое, и солнце бестревожно-яркое.

Как легко начинается день и как трудно — жизнь, если начинать ее сызнова!



# СОДЕРЖАНИЕ

Я ИЩУ КИТЕЖ-ГРАД

4

КОГДА СКОРЫЙ ОПАЗДЫВАЕТ

77

ПРОШУ ВСТАТЬ!

155

Александр Иванович Абрамов  
**Я ИЩУ КИТЕЖ-ГРАД**

М., «Советский писатель», 1982, 232 стр.  
План выпуска 1982 г. № 1

Редактор О. С. Ляуэр  
Худож. редактор Е. И. Балашева  
Техн. редактор Е. П. Румянцева  
Корректор Л. М. Вайнср  
ИБ № 3371

Сдано в набор 23.07.81. Подписано к печати 25.12.81.  
А 02956. формат 70X108/32. Бумага тип. № 1  
Журнальная гарнитура. Высокая печать.



70 коп.

